

М.И. Свердлов

ИСКАЖЕНИЕ ИСКАЖЕНИЙ: ПРОЕКЦИИ ИНОСТРАННОГО ВОСПРИЯТИЯ РОССИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Стереотипы негативного восприятия России

Речь в этой статье пойдет о кризисе идентичности в современной отечественной литературе и его предпосылках.

Начнем с «общих мест». В терминах А. Ахизера, закономерностью русской истории, ее «модулем» является «качание» между крайностями, «инверсия». По его словам, «специфика России связана не с самим фактом исторического перехода от одной цивилизации к другой, но с особым характером этого перехода, который в силу существования раскола может рассматриваться как основа особого типа неорганической цивилизации, сформировавшейся как результат приспособления к собственному расколу. Раскол есть прежде всего разрыв коммуникаций внутри общества, разрыв между обществом и государством, между духовной и властвующей элитой, между народом и властью, народом и интеллигенцией, внутри народа, то есть между теми, кто стремится предотвратить малейшие намеки на нарушение уравнительности, и теми, кто пытается выйти из архаичного сообщества, например, общины. Раскол возникает между сознанием и самосознанием общества. Он проникает в каждую личность, стимулируя двойственность, диалектичность мышления, неустойчивость принимаемых решений. Яркое проявление раскола заключается в том, что смыслы, пересекающие его границу, коренным образом меняют свое

Искажение искажений: проекции иностранного восприятия ...

содержание. Смысл может измениться на обратный. В обществе складываются две системы смысла, не находящиеся в состоянии взаимопроникновения, но в отношении взаиморазрушения»¹.

Ю.М. Лотман описывал русскую культуру как бинарную структуру – в отличие от западной тернарной: «Для русской культуры с ее бинарной структурой характерна совершенно иная [чем в тернарной структуре – М.С.] самооценка. Даже там, где эмпирическое исследование обнаруживает многофакторные и постепенные процессы, на уровне самосознания мы сталкиваемся с идеей полного и безусловного уничтожения предшествующего и апокалиптического рождения нового»². Таким образом, историческая судьба России до сегодняшнего во многом определялась «утратой середины»³, метанием между крайностями – «этнической одержимостью»⁴ и «дьяволизацией отечества»⁵.

Задача данной статьи – проследить одно из предельных отклонений этого «маятника» – случаи *от-странения современной русской литературы от России*. Но прежде чем говорить о причинах и закономерностях, определяющих это явление в «литературном сегодня», стоит оглянуться назад – чтобы классифицировать типы и способы этой инверсии на историческом материале.

Для понимания того, как «конструируется» негативная «вербальная модель»⁶ отечества, имеет смысл предварить обзор русских источников обращением к иностранному материалу: в письмах, путевых заметках и трактатах иностранцев *стереотипы негативного восприятия России* складываются в определенную схему, набор готовых, устоявшихся идей, которые так или иначе воздействуют на русских писателей и мыслителей.

¹ Ахизер А.С. Где искать самобытность? Специфика исторического пути России // Дружба народов, 1995, № 1. С. 115.

² Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. С. 268.

³ Об «утрате середины» как общемировом процессе см.: Бибихин В.В. Новый ренессанс. М.: Наука; Прогресс-Традиция, 1998. С. 75-127.

⁴ Формула А. Зорина (Колеров М. Новый режим. М.: Модест Колеров & Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 11).

⁵ Формула М. Соколова (Соколов М. Чуден Рейн при тихой погоде. Новые разыскания. М.: SPLS; Русская панорама, 2003. С. 410).

⁶ Формула Х. Уайта (Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Из-во Уральского ун-та, 2002. С. 46).

Как показал историк Л. Вульф в своей книге с многозначительным названием «Изобретая Восточную Европу», большинство стереотипов восприятия России восходит к веку Просвещения. Известно, что само слово цивилизация вошло в европейские языки во второй половине XVIII века в силу необходимости противопоставить «истинный путь» европейских государств «заблуждениям» или «отсталости» «диких» народов¹. В этой «ментальной карте»², создаваемой на основе понятия цивилизации, России было предназначено место по ту сторону границы: ««примитивная», Россия была идеальным фоном, оттеняющим [например – М.С.] французскую “цивилизованность»,»³ (Л. Вульф). Пользуясь терминологией Х. Уайта, можно сказать, что в описании истории и быта России иностранные наблюдатели склонялись к «сатирическому типу репрезентации»⁴.

Особое значение в процессе формирования негативного образа России принадлежит книге маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году», в которой кристаллизуется «сатирический тип репрезентации» восточноевропейского соседа, намеченный просветителями XVIII века (и книгами П.-Ш. Левека, Ж. Лекузнта де Лаво, Ф.-П. Сегюра); в дальнейшем обличители русских по большей части будут лишь повторять и варьировать формулы Кюстина; посол США в СССР (в послевоенные годы) У.Б. Смит назвал «Россию в 1839 году» «столь проищательными и нестаряющимися политическими заметками, что их можно назвать лучшей книгой, когда-либо написанной о Советском Союзе»⁵.

Каков же схематический образ России, складывающийся на страницах кюстиновской книги?

«Конструирование» этого образа опирается на отрицательные формулы:

¹ См.: *Февр Л.* Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Февр Л. *Бон за историю*. М.: Наука, 1991. С. 257, 259.

² См.: *Шенк Б.* Ментальные карты. Конструирование географического пространства в Европе со времени эпохи Просвещения // *Регионализация посткоммунистической Европы. Серия «Политические исследования»*. М.: ИНИОН, 2001. № 4.

³ *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С. 14.

⁴ *Уайт Х.* Указ. соч. С. 89. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте.

⁵ *Вульф Л.* Указ. соч. С. 528. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте.

1. *Россия – «безобразная»*. Безобразная – уже в силу своего географического положения: «самая унылая, однообразная и голая страна на свете»; «пескончаемые равнины, мрачное, плоское безлюдье – вот что такое Россия»¹. Кюстин не устает порождать все новые сентенции, обыгрывающие концепт «мертвого, пустого пространства»: «... такая [тираническая – ав.] политика процветала доселе и будет процветать впредь в стране, где расстояния, оторванность людей друг от друга, болота, леса и зимы заменяют тем, кто отдает приказания, совесть, а тем, кто эти приказания исполняет, – терпение»; «Даже климат в их стране – пособник тирании» (Кюстин, II, 14, 76).

Горделивая одическая формула «от – до», «закрепленная за темой “необъятные просторы России»,»², – и та, согласно Кюстину, указывает на российскую роковую, предрешенную неполноценность: Россия так велика, что на ее просторах растворяется, распадается всякая форма и «ничто» превращается в «ничто»: «В России – сплошь далекие расстояния: на этих голых равнинах, простирающихся куда хватает глаз, нет ничего, кроме расстояний» (Кюстин, II, 34); «... страна, где природа не создала ничего, а искусство произвело только наброски да копии...» (Кюстин, II, 59). Части здесь не составляют целого («Дома в них [русских деревнях – М.С.] не что иное, как нагромождение бревен»; города – «нагромождение серых деревянных домиков»; Москва – «хаос из штукатурки, кирпича и досок» – Кюстин, II, 34, 36, 64); проекты и дела остаются незавершенными («Что касается цивилизации, в России все незакончено, потому что ново; на самой прекрасной дороге в мире всегда что-нибудь недоделано» – Кюстин, II, 44), отношения между людьми и институтами – сомнительными («В этой стране <...> ничто не имеет четких определений...» – Кюстин, II, 54). Любопытно, что более чем через сто лет (в 1960 году) журнал «Лайф» представит иллюстрированный альбом о России почти в тех же словах, что и Кюстин: этот «пространный и пустынный край порождает мрачное ощущение нереальности и служит естественным фоном для повторяющихся волнений, драм и жестокостей» (Вульф, 14).

2. *Россия – противоестественная*. Противоестественная – то

¹ *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. В 2-х томах. М.: Из-во им. Сабашниковых, 1996. Т. 1. С. 232. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте, с указанием тома и страницы.

² См.: *Пумпянский Л.В.* Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000. С. 163.

есть существующая как бы наперекор истории и природе; в России все наоборот, «не как у людей»: «Древние люди поклонялись солнцу; русские поклоняются солнечному затмению: разве могли они научиться смотреть на мир открытыми глазами?»; «Обо всех русских, какое бы положение они ни занимали, можно сказать, что они упиваются своим рабством»; «Этот народ, лишенный досуга и собственной воли, – не что иное, как скопище тел без души; невозможно без трепета думать о том, что на столь огромное число рук и ног приходится одна-единственная голова» (Кюстин, I, 125, 127, 131). В сравнении с цивилизованным народом здесь все вещи как бы перевернуты с ног на голову: «Во Франции нравы и обычаи всегда смягчали политические установления; в России они, наоборот, ужесточают их, и это приводит к тому, что следствия становятся еще хуже принципов» (Кюстин, II, 38-39). В образе России есть нечто не-мыслимое, фантастическое: Петербург подобен «Летучему Голландцу» («... низкие берега Невы с невысокими постройками словно бы колышутся между небом и землей: кажется, будто они вот-вот канут в пустоту»; «... ужели это столица огромной империи или все это только мираж, обман зрения?» – Кюстин, II, 8, 74); московский Кремль – «обиталище призраков» (да и не только Кремль, а и вся Россия, ведь здесь «каждый делает все возможное для того, чтобы исчезнуть, испариться...»); осмотрев Кремль, путешественник возвращается домой, «как больной, который видел кошмарный сон и проснулся в горячке», который, познакомившись с российской историей, убедился, что «ад существует» – Кюстин, II, 130, 133, 87).

3. *Россия – бес-человечная*. Бесчеловечная, потому что изначально враждебная людям, живущим в «этой стране»: «Потемки [российской – ав.] политики непригляднее черноты полярного неба»; «В России <...> люди обделены счастьем больше, чем в любой другой части света»; «Дурное обхождение здесь упорядочено не хуже таможенных тарифов»; «Россия – нация немых; какой-то чародей превратил шестьдесят миллионов человек в механических кукол»; «Климат здесь угнетает животных, как деспотизм угнетает человека» (Кюстин, II, 281, 247, 285, 284, 33). «Бесчеловечны» даже ее «чудеса» (Кюстин, II, 125).

Поэтому народ, ее населяющий, – «черствый в глубине души» (Кюстин, II, 18). Она несет не только бедствия своему населению, но и угрозу цивилизованным народам: «Славяне, подобно дракону Апокалипсиса, чей хвост сметает за собой треть небесных звезд, когда-

нибудь притащат за собой стада Средней Азии, древних подданных Чингисхана и Тамерлана...» (Э. Ренан¹).

4. *Россия – бес-порядочная, не-(недо-)цивилизованная*, то есть страна немыслимого смешения подобия культуры и действительного варварства. Это «полуварварский народ» (Кюстин, II, 11), как будто возвращающий путешественника в мифические времена: Москва – «створение циклопов» (Кюстин, II, 135), в России так и не преодолена первобытность (здесь «варварство носится в воздухе»; «Мне кажется, будто на моих глазах воскресает ветхозаветное племя, и я заставаю у ног допотопного гиганта, объятый страхом и любопытством» – Кюстин, II, 53; I, 147), но и успокоиться в этой первобытности ей тоже не дано («Патриархальная тирания азиатских правителей в соединении с теориями современной филантропии, нравы народов Востока и Запада, несовместимые по своей природе и притом нераздельно слившиеся друг с другом в полуварварском обществе...»², «... я говорю: разучились жить, как дикари, но не научились жить как существа цивилизованные, и вспоминаю страшную фразу Вольтера или Дидро [приписываемую Дидро – М.С.]: <...> “Русские спилили, не успев созреть”» – Кюстин, II, 45; I, 154-155). В России *совмещается несовместимое*: «Что меня возмущает, так это зрелище самой утонченной элегантности, соседствующей с <...> отвратительным варварством» (Кюстин, I, 289).

Любой порядок в России – мнимый; за внешней упорядоченностью всюду здесь скрывается хаос: «... все обличает беспорядок и произвол, все выдает постоянную тревогу странных созданий, которые обрекли себя на жизнь в этом фантастическом мире, за свою безопасность» (Кюстин, II, 75).

Так Кюстин усиливает общие места, сформулированные в сочинениях предшественников («... век варварства и век цивилизации, десятое и восемнадцатое столетия, азиатские и европейские манеры, грубый скиф и утонченный европеец» – Л.Ф. де Сегюр³; «поток варварства, который устремляется к передовым рубежам европейской цивилизации» – М. Фурнье⁴) и современной ему французской прес-

¹ Цит. по: Вульф, 529.

² Там же. Т. 2. С. 45.

³ Цит. по: Вульф, С. 517.

⁴ Цит. по: Мильчина В. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб.: Гиперион, 2006. С. 286.

се («... беспорядочная смесь всевозможных народностей, каждая из которых стремится возвратиться к своему первоначальному бытию» – Мишьяина, 286). Следуя той же логике, почти через сто лет после Кюстина В. Беньямин (1927) вновь изумится нелепости российской жизни: «Ничто не происходит так, как было назначено и как того ожидают – это банальное выражение сложности жизни с такой неотвратимостью и так мощно подтверждается здесь на каждом шагу, что русский фатализм очень скоро становится понятным»; «Роскошь, осевшая в обедневшем, страдающем городе словно зубной камень в большом рту»¹.

5. *Россия – бес-смысленная*, противоречащая законам здравого смысла и противоречивая в самых своих основаниях: «Бессмыслица <...> – главная отличительная черта этого огромного города [Петербурга – М.С.]»; «Русские почти всегда нарушают общественный порядок из слепого почтения к властям» (Кюстин, I, 121, 306). Говоря о русском «пренебрежении историей» (Кюстин, II, 128), автор «России в 1839 году» сводит русскую историю к дурному, лишённому высокого смысла повторению однообразных циклов; таким образом, он прибегает к фигуре Иронии, которую Х. Уайт определил как «представление мира в образе *колеса*, вечного возвращения, замкнутых циклов, которых не избежать. Фрай называет такое восприятие “Иронией рабства”; она больше похожа на кошмар социальной тирании, чем на мечту об искуплении, на “демоническую эпифанию”. Сознание обращается к созерцанию “города в жутком мраке”...» (Уайт, 271). «... Я с ужасом замечаю, – пишет Кюстин, – что, как бы ни изменялись обстоятельства, те же взгляды [что и в эпоху Ивана Грозного – М.С.] русские исповедуют и по сей день, так что, роди русская земля второго Ивана IV, все повторилось бы вновь» (Кюстин, II, 88).

6. *Россия – без-жизненная*: «... из <...> произвола <...> рождается то, что здесь называют общественным порядком, то есть мрачный застой, пугающий покой, близкий к покою могильному...» (Кюстин, II, 29).

7. *Отрицательные формулы дополняются формулами мнимости, ложного бытия*. Россия – химера: она постоянно обманывает иностранного наблюдателя, *замещает истинное обманным, органическое – заимствованным, оригинальное – подражательным*. Вместо общества здесь военный лагерь («Российская империя – это лагерная

¹ Беньямин В. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997. С. 44, 34.

дисциплина вместо государственного устройства, это осадное положение, возведенное в ранг нормального состояния общества» – Кюстин, I, 132) или театр («их цивилизация – одна видимость»; «снег – маска»; «Петр Великий и его преемники приняли Россию за театр» – Кюстин, I, 164, 134, 135).

Петербург; этот «дивный город», тем не менее является только «подражанием городу западному» (Кюстин, II, 33). Россия лишь подбирает объедки западной культуры: «В Москве русская знать не смогла бы уже через неделю узнавать все дрянные парижские анекдоты и быть постоянно в курсе всех европейских сплетен, касающихся светского общества и литературных однодневок. Подробности эти, как ни жалки они на наш вкус, более всего интересуют русский двор, а следовательно, и всю Россию» (Кюстин, II, 137). Такова уж заемная природа русских – ведь «подражают они точно как обезьяны, оглуляя предмет подражания» (Кюстин, II, 154).

8. Россия всегда в кюстиновской и подобной ей схемах служит *антитезой западной норме*: если Запад характеризуется «благоустройством, домашностью», то Россия – вечный «бивуак», «табор» или «лагерь»; там – свобода, здесь – рабство («деспотизм на троне, <...> тирания везде»; там – рыцарская честь, здесь – унижение («В ту пору, когда московские великие князья преклоняли колена под позорным игом монголов, в Европе, а в особенности в Испании, где проливались потоки крови во имя чести и независимости христианства, торжествовал дух рыцарства»); там – слово и свет, здесь – «безмолвие и потемки» (Кюстин, II, 35, 36, 38, 57, 123, 105).

Каков же вывод? Он в известных словах Р. де ла Лемерсье: «Все еще только предстоит создать в этой стране; а еще вернее, все еще предстоит разрушить и *создать заново*», повторенных Кюстином: «... чтобы вывести здешний народ из ничтожества, требуется все уничтожить и *пересоздать заново*» (Кюстин, I, 283 – курсив мой).

Многие из этих формул подпитывали патриофобию русских – явление далеко не только сегодняшнее или вчерашнее. Попыткам русского образованного человека обрести позицию вневходимости, ветать на западную точку зрения в отношении к своему отечеству уже больше двухсот лет. Можно вспомнить хотя бы известного в парижских салонах первой половины XIX века князя П.Б. Козловского

¹ Цит. по: Вульф, 331. Курсив мой.

(г-жа де Сталь: «русский, упитанный европейской цивилизацией»¹), о котором с сочувствием рассказывает маркиз де Кюстин: «Что же до любезного князя К***, то откровенность его суждений об отечестве доказывает мне, что и в России находятся люди, осмеливающиеся бесстрашно высказывать собственное мнение. Когда я поделился с ним этой мыслью, он отвечал мне: "Я не русский!!!" Странное притязание!..» (Кюстин, I, 105).

И все же подобная позиция для дореволюционной России – нечто маргинальное и исключительное. Если говорить о таких обычных для XIX века явлениях, как галломания, англomanия, «германский комплекс»², или о таких типах, как «западник», «русский европеец»³, «обличитель российской действительности», то под всем этим никогда не подразумевалось «странное притязание» *встать вне отечества и судить его как бы со стороны*.

Возьмем для примера самые крайние суждения, содержащие жесткую критику оснований русской жизни и связанные с приведенными выше отрицательными формулами.

Наибольший резонанс имели инвективы из «Философических писем» П.Я. Чаадаева. С первых страниц чаадаевского первого письма, опубликованного в «Телескопе» (1836), образ России оказывается *под ударом отрицательных частиц и ее эквивалентов*: «Первые наши годы, протекшие в неподвижной дикости, не оставили **никакого** следа в нашем уме и **нет** в нас **ничего** лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль; выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, **не** восприняли мы и традиционных идей человеческого рода»; «...мы **никогда** не шли вместе с другими народами, мы **не** принадлежим **ни** к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и **не** имеем традиций **ни** того, ни другого. Мы стоим как бы **вне** времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас **не** распространилось. Дивная связь человеческих идей в преемстве поколений и история человеческого духа, приведшие его во всем

¹ Цит. по: Мильшина В., Основат А. Комментарий // Кюстин А. де. Россия в 1839 году. Т. I. С. 441.

² Песков А.М. Германский комплекс славянофилов // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М.: Медгум, 1993.

³ См. главу «Феномен "русского европейца"» в кн.: Кантор В.К. Феномен русского европейца. Культурфилософские очерки. М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999. С. 118-140.

остальном мире к его современному состоянию, на нас **не** оказали **никакого** действия»¹.

На месте «чарующих воспоминаний» в прошлом России – пробел, пустота, будущее же ее сомнительно; она до сих пор пребывает в состоянии инфантильного недоумения – в *бессобытийном, бессмысленном «сейчас»*: «Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем **без** прошедшего и **без** будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то **не** в ожидании или **не** с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (Чаадаев, I, 325).

Россия оказывается вне исторического сюжета: вместо этого она постоянно пребывает в «хаотическом брожении», в блуждании по чужим следам («Мы подобны тем детям, которых не заставили самих рассуждать, так что, когда они вырастают, своего в них **нет ничего**; все их знание поверхностно, вся их душа **вне** их»), в поисках случайного пристанища («Взгляните вокруг. Разве что-нибудь стоит прочно? Можно сказать, что весь мир в движении. **Ни** у кого **нет** определенной сферы деятельности, **нет** хороших привычек, **ни** для чего **нет** правил, **нет** даже и домашнего очага, **ничего** такого, что привязывает, что пробуждает наши симпатии, вашу любовь; **ничего** устойчивого, **ничего** постоянного; все течет, все исчезает, **не** оставляя следов **ни** вонне, **ни** в вас. В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников, мы хуже кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам» – Чаадаев, I, 325, 326, 323-324).

Чаадаевским письмам вторят гоголевские сентенции («Француз играет, немец мечтает, англичанин живет, а русский обезьянствует»²) и пушкинские горькие реплики в заметках и письмах: «Все наши знания, все наши понятия с младенчества почерпнули мы в книгах иностранных, мы привыкли мыслить на чужом языке <...> но ученость, политика и философия еще по-русски **не** изъяснились; метафизического языка у нас вовсе **не** существует; проза наша **так** еще мало об-

¹ Чаадаев П.Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. М.: Наука, 1991. Т. I. С. 325, 323. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте.

² Гиппиус В.В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. М., 1931. С. 419.

работана, что даже в простой переписке мы принуждены *создавать* обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных¹ (А.С. Пушкин). Позже, в кружках 1840-х годов, культивировался романтический космополитизм², насильственный подход к России с идеальной меркой; так, В.Г. Белинский признавался: «Его [Ф. Шиллера – М.С.] “Разбойники” и “Коварство и любовь” <...> наложили на меня дикую вражду с общественным порядком во имя абстрактного идеала общества, оторванного от географических и исторических условий развития, построенного на воздухе»³).

Но все же эти и подобные им высказывания могли быть продиктованы тревогой, сомнением, отчаяньем, мечтательностью, но никогда – голым отрицанием: при самой жесткой критике, до определенного момента русские писатели и публицисты не отделяли себя от своей почвы – отсюда и у Чаадаева, и у Пушкина речь от первого лица: «мы», «наши». Поэтому Языков вряд ли был прав, когда обвинял Чаадаева в своих стихах: «Вполне чужда тебе Россия, / Твоя родимая страна» («К Чаадаеву», 1944⁴). «Русские европейцы», тяготея к Европе, ни в коей мере не хотели отказываться от своей «русскости». До революции литература и философская мысль не стремятся разорвать традиционную связь с отечеством: первое (или второе) лицо не меняется на третье («эта страна»), *русский писатель не превращается из «европейца» в «проекцию иностранца»*.

Более того, сама способность к самокритике является, по А. Герцену, одним из величайших талантов русского человека: «Одним из свойств русского духа, отличающим его даже от других славян, является способность время от времени оглянуться на самого себя, отнестись с отрицанием к собственному прошлому, способность посмотреть на него с глубокою, искреннею, неумолимою иронией и иметь смелость признаться в этом, не обнаруживая ни эгоизма закоренелого злодея, ни лицемерия, которое винит себя только для того, чтобы быть оправданным другими»⁵.

¹ Пушкин А.С. Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. VII. М.-Л., 1951. С. 18.

² См.: Герцензон М. Избранное. В 4-х тт. М. Иерусалим: Университетская книга; Gesharim, 2000. Т. 2. С. 377.

³ Белинский В.Г. Избранные письма. В 2-х тт. М.: Худ. лит., 1955. Т. 1. С. 528.

⁴ Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.-Л.: Сов. писатель, 1964. С. 397.

⁵ Герцен об искусстве. М.: Искусство, 1954. С. 217.

Отрицание «страшной русской жизни» (Чаадаев, I, 329) в XIX веке, за редчайшими исключениями, не означает пореволюционно-го «Я над всем, что сделано, / Ставлю “nihil”»¹. Поэтому оно может оборачиваться своей противоположностью: отрицательное значение России в русской мысли – сплошь и рядом является отправной точкой для парадоксального утверждения положительного. Именно такой поворот мысли – *утверждение великой исторической миссии России в будущем через отрицание ее прошлого* – мы находим у того же Чаадаева: «Раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны сочетать в себе два великих начала духовной природы – воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара» (Чаадаев, I, 329).

Ту же схему переворачивания – *утверждение через отрицание, превращение «минуса» в «плюс»* – находим и у другого знаменитого обвинителя России – А. Герцена. «Но при всей своей восприимчивости не оказали ли славяне везде полнейшую неспособность к развитию современного европейского, государственного чина, постоянно впадая или в отчаянейший деспотизм, или в безвыходное неустойчивость?» – вопрошает автор «Былых и дум» в духе Чаадаева. И неожиданно отвечает: «Эта неспособность и эта неполюта – великие таланты в наших глазах»².

Исключения только подтверждают правило. Таким исключением, эксцессом в сфере мысли являются «Замогильные записки» В. Печерина, который прямо признается «в ненависти ко всему окружающему, ко всему родному, к целой России» и приводит «безумные строки» из своего стихотворения:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,
И в разрушении Отчизны видеть
Всемирного дешицу возрожденья³.

¹ В.В. Маяковский «Облако в штанах» – Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в 13 тт. М.: ГИХЛ, 1955. Т. 1. 489.

² Герцен А.И. Былое и думы. В 3-х тт. М.: Худ. лит., 1982. Т. 2. С. 120.

³ Печерин В.С. Замогильные записки (Aprologia pro vita mea) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Из-во Московского ун-та, 1989. С. 161. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте.

Россия для Печерина – дантов ад, обитатели которого живут «грубо-животной жизнью» (Печерин, 172). В ней действует мрачный «закон географической широты»: «Жалоба моя так же основательна, как если б какая-нибудь русская елка или березка, выросшая под Архангельским небом, вздумала плакаться на то, зачем-де она не родилась пальмою или померанцевым деревом под небом Сицилии!» (Печерин, 162).

Однако и эта вербальная месть Печерина России – семейная: «Какое-то темное бессознательное чувство *мести* овладело мною и преследовало меня повсюду. Как иначе объяснить эту тоску по заграничье, это беспрестанное желание *отделаться* от родительского дома, искать счастья где-нибудь в другом месте?» (Печерин, 151 – курсив мой). Ругая Россию, автор «Замогильных записок» ругает себя, свою подлую «русскую натуру» (Печерин, 154), свое врожденное рабство («Рабами мы родились, рабами мы живем, рабами и умрем» – Печерин, 158). Он сам осознает себя не русским иностранцем, а отщепенцем, чудаком, причудливой смесью Дон Кихота и Вечного Жида (Печерин, 168, 173, 177, 181, 186). Разлад с Россией осознается Печериным как трагический, роковой; его прощание с родиной, при всей ожесточенности беглеца, все же окрашено элегически: «Этим я оканчиваю сказание о моей жизни в России, “где я страдал, где я любил, где счастье я похоронил”...» (Печерин, 168).

Но пройдет время, и то, что в XIX веке было эксцессом – вроде печеринского «Как сладостно отчизну ненавидеть», – станет нормой пореволюционной мысли.

Спрашивается, какое место занимал в отечественной литературе XIX века соответствующий герой – «русский иностранец»? Вряд ли можно считать таковым «лишнего человека» 1820–1830-х годов: Онегин и Печерин – не просто байронические герои-космополиты, которым везде чужбина: они слишком сложны и противоречивы; как и в оппозиционной публицистике, в них отрицание и отталкивание от отечества парадоксально оборачивается «русским духом».

«Русский иностранец» как литературный тип в XVIII–XIX веках занимает в галерее персонажей русской словесности маргинальное место: он пребывает исключительно в сфере комического. Впервые этот тип возникает в сатирической литературе XVIII века – например, в образе *цеголя*, «петиметра» Иванушки из комедии Д. Фонвизина «Бригадир» (одной из первых сатир на галломанов с их воляшником:

«Ваш резонеман справедлив»; «Я вижу, что надобно об этом говорить безо всякой дессимюляции»¹). «Тело мое родилось в России, это правда; однако дух мой принадлежит короне французской»; «Матушка, когда вы говорите о чем-нибудь русском, тогда желал бы я от вас быть на сто миль французских»² – эти декларации Иванушки воспринимаются читателями и зрителями XVIII–XIX веков как проявления смехотворной глупости, в одном ряду с митрофанушкиным «дверь прилагательна». Однако в этих репликах и комических диалогах с Советницей формулируются те стереотипы патриофобии, которые в дальнейшем будут переосмыслены уже вовсе не в комическом плане:

«Сын. Все несчастье мое состоит в том только, что ты русская.

Советница. Это, ангел мой, конечно, для меня ужасная погибель.

Сын. Это такой default, которого ничем загладить уже нельзя;

«Сын. Всякий, кто был в Париже, имеет уже право, говоря про русских, не включать себя в число тех, затем что он уже стал больше француз, нежели русский.

Советница. Скажи мне, жизнь моя: можно ль тем из наших, кто был в Париже, забыть совершенно то, что они русские?

Сын. Totalement нельзя. Это не такое несчастье, которое бы скоро в мыслях могло быть заглажено. Однако нельзя и того сказать, чтоб оно живо было в нашей памяти. Оно представляется нам, как сон, как illusion»³.

Быть русским – это ошибка, жизнь в России подобна небытию, это как дурной сон – таков урок отстранения от национальной почвы, данный одним из первых «русских иностранцев» в отечественной литературе.

В пореформенные годы и до революции маргинальный статус этого *амтла* – «русского иностранца» – подтверждается тем, что оно *переходит к слуге* (таков «усовершенствованный» слуга из тургеневских «Отцов и детей» и Яша в чеховском «Вишневом саде»). В комичности и нелепости этого типажа в литературе второй половины XIX века ощущается все большая угроза, и, наконец, она явлена в «Братьях Карамазовых» Ф.М. Достоевского.

«Русский иностранец» у Достоевского – тоже слуга, он так же комичен и нелеп, как и другие персонажи этого – «галантерейного» – ряда. Но «смешное» переходит в образе Смердякова из «Братьев Ка-

¹ Фонвизин Д.И. Избранные сочинения и письма. М.: ОГИЗ, 1947. С. 16.

² Там же. С. 31, 51.

³ Там же. С. 36.

рамазовых» в «словешее», «забавно-нелепое» – в угрожающий бред. В речах Смердякова обнажена вся «логика» национального самоотрицания:

« – ...Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я с самого сыздетства, как услышу бывало "с мальним", так точно на стену бы бросился. Я всю Россию ненавижу, Марья Кондратьевна. <...>

– Когда бы вы были военным юнкерочком, али гусариком молоденьким, вы бы не так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать.

– Я не только не желаю быть военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с.

– А когда неприятель придет, кто же нас защищать будет?

– Да и не надо вовсе-с. В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с)¹.

По словам Н.А. Бердяева, «Достоевский предвидел торжество не только шигалевищины, но и смердяковщины. Он знал, что подымется в России лакей и в час великой опасности для нашей родины скажет: "я всю Россию ненавижу" <...> Смердяковщина и привела к тому, что "умная нация" немецкая покоряет теперь "глупую" нацию русскую. Лакей Смердяков был у нас одним из первых интернационалистов, и весь наш интернационализм получал смердяковскую прививку»². Так линия «слуги-петиметра», доведенная до предела, упирается в русскую революцию.

«Реализация» негативных стереотипов в первые годы советской власти

Вслед за Достоевским многие мыслители указывали на удивительную особенность русской истории – «сбываемость» и

¹ Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 10-ти тт. М.: Худ. лит., 1958. Т. 9. С. 282.

² Бердяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Правда, 1991. С. 274.

«оборачиваемость»¹ идей. «Россия – это страна, где все сбывается, все договаривается до конца», «мифы осуществляются», слово оборачивается делом². Именно так и случилось с отрицательной концепцией России: с первых лет Советской власти формула Лемерсье-Кюстина («пересоздать заново») – стремилась к реализации, а слова фонвизинского Иванушки (о русской жизни, ставшей прошлым и превратившейся в «сон, illusion») и Смердякова (о «других порядках-с») – к воплощению в жизнь.

Схема «оборачивания» уничижительных эпитетов, превращения «вербального» в «реальное» была предугадана еще в «Бесах» Ф.М. Достоевского. Роман начинается с болтовни, со словесного щегольства, с погони за esprit и bon mot. «Э, погибай, Россия!» – легкомысленно приговаривает Степан Трофимович Верховенский за картами; безответственно разлагольствует: «...Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда»³. Сначала его «лакейство мысли»⁴ и легкая игра с негативными формулами («Россия – беспорядочная», «противоестественная», «бессмысленная») оборачивается пародией и фарсом в речах капитана Лебядкина, литературного родственника Смердякова и прочих лакеев-патриофобов: «...Россия есть игра природы, не более!»⁵. А затем, с нарастанием сюжетного напряжения, доходит до безумия, до саморазоблачительного бреда⁶. «О, русские должны бы быть истреблены для блага человечества, как вредные паразиты!», – лепечет Степан Трофимович⁷. А между тем уже наготове те люди, которые примут слова об «истреблении» как руководство к действию. И когда, наконец, в третьей части «Бесов», во время «праздника», на сцене появится «маньяк» и начнет «бесчестить» отчизну «всенародно, публично» («...Никогда Россия, во всю бестолковую тысячу лет своей жизни, не доходила до такого позора...»; «...никогда Россия, даже в

¹ См.: Галковский Д. Бесконечный тупик. М.: Самиздат, 1998. С. 346, 180, 194.

² Там же. С. 3, 140.

³ Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. 7. С. 14, 40.

⁴ Там же. Т. 7. С. 143.

⁵ Там же. Т. 7. С. 187.

⁶ О бредовой инверсии «русского разговора» см.: Галковский Д. Указ. соч. С. 636.

⁷ Достоевский Ф.М. Указ. соч. Т. 7. С. 229.

самые карикатурные эпохи своей бестолковщины, не доходила...»¹), это уже будет не просто высказывание, а слово-дело, слово-террор, настоящая репетиция грядущей катастрофы.

В начале XX века отрицательные формулы, бывшие до того маргинальными, резко смещаются в «центр» публицистики и литературы. Вот как В.В. Розанов гротескно передавал этот нарастающий гул голосов, «бесчестящих» Россию: «Спросите Петрищева из "Русского богатства", что такое Россия, и он ответит вам:

– Конечно, страна непроходимых дураков.

Мякотина?

– О, в России живут совершенные ослы. Все. Кроме меня и моего приятеля Петрищева.

Пешехонова?

– Страна пауков и вшей, которую раздавить бы»².

Вторя Достоевскому, Розанов указывает на прямую, причинно-следственную связь между подобными самобичеваниями русских и террором: «...до силы выстрела дошла их [революционеров – М.С.] гадливость ко всей русской земле, ко всему русскому полю, с лесочками, подлесочками, проселочными дорогами, железными дорогами, со всем вековым и тысячелетним строительством, которое пусть было и не премудро, но, однако же, было именно строительство, труд, созидание, терпение, умирание и новые роды и роды»³.

То, что было, говоря по-ленински, лишь «краснобайством», «пустословием», «фразерством», политической трескотней»⁴, становится у самого В.И. Ленина словом как «орудием революционной борьбы», «утилитарной формулой действия»⁵. Ленинская речь, действительно, обретает «силу выстрела». Подобно провокационным выкрикам «маньяка» из «Бесов», она оказывает «динамичное, влияющее»⁶ действие на массы. Для такого «слова-дела» все средства хороши. Это и ядовитая, издевательская ирония: «Я бы очень

¹ Там же. С. 509-510.

² Розанов В.В. Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М.: Республика, 1996. С. 546.

³ Там же. С. 548.

⁴ Об употреблении этих слов Лениным см.: Эйхенбаум Б. Основные стилевые тенденции в речи Ленина // ЛЕФ, № 1, 1924. С. 59, 60, 62, 69.

⁵ Казанский Б. Речь Ленина // ЛЕФ, № 1, 1924. С. 112.

⁶ Тьяннов Ю. Словарь Ленина-полемиста // ЛЕФ, № 1, 1924. С. 110.

хотел взять <...> несколько гострестов (если выражаться этим прекрасным русским языком, который так хвалил Тургенев)...»; «тут осталось коммунистическое чванство, комчванство, выражаясь тем же великим русским языком»¹ (обоюдоострая насмешка – как над новоязом, так и над «великим» русским языком); «так называемая "великая" нация <...> хотя великая только своими насилиями, великая только так, как велик держиморда...»² (ирония клеймящая, орудующая ярлыками). Это и прямая, откровенная брань: «...Истинно русский человек, <...> в сущности, подлец и насильник...»; «Нет сомнения, что ничтожный процент советских и советизированных рабочих будет тонуть в этом море шовинистической великорусской швали, как муха в молоке»³; «русские дураки», «полуварвары русские»⁴. Закономерным следствием теоретического, вербального насилия становится насилие практическое, осуществляемое, цель которого Ленин указывает в своем знаменитом высказывании: «Россия завоевана большевиками»⁵.

«Вместе с Владимиром Печериным проклинали мы Россию, вместе с Марком ненавидели ее. И она не вынесла этой ненависти, – подводит первые тяжкие итоги Г.П. Федотов в 1918 году. – <...> Государство русское, всегда пугавшее нас своей жестокой тяжестью, ныне не существует. Мы помогли разбить его своей ненавистью или равнодушием. Тяжко будет искупление этой вины»⁶.

¹ Ленин Н. (В.И. Ульянов). Основные задачи партии при НЭП'е 1921–1923 гг. Статьи и речи. М.: Красная Новь, 1924. С. 137, 139.

² Ленин В.И. Избранные произведения. В 3 т. Т. 3. М., 1969. С. 703.

³ Ленин В.И. Полн. собр. соч. В 65 т. Т. 45. М.: Политиздат, 1970. С. 357.

⁴ Цит. по: Латышев А. О раскритиковании трудов Ленина // Национальная газета, 2002, № 4-5. С. 13.

⁵ Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 128. Для ленинской логики также в высшей степени характерны «оружловские» приемы: ненависть – это любовь («Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: "жалкая нация, наша рабов, сверху донизу – все рабы" <...> это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения»; «Мы полны чувства национальной гордости, и именно поэтому мы особенно ненавидим свое рабское прошлое» («Национальная гордость великороссов» – Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 108).

⁶ Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2 т. СПб.: София, 1991. Т. 1. С. 42, 46.

В чем одна из основных задач революции, по мысли русских религиозных философов? В развязывании «войны» против самой идеи отечества до полной ее отмены («смысл взрывания смыслов»; «исторноборчество»¹). В чем ее следствие? В саморазрушении России («срыв [национальной – М.С.] эволюции в бездну разрушения и небытия»²).

Согласно Ф.А. Степуну, «в основе всех социалистических утопий лежало чувство, что революция представляет собой нечто более реальное, чем Россия. Лишь этим чудовищным смещением основных планов бытия и объясняются, как мне кажется, все непоправимые ошибки и даже преступления наших социалистов-интернационалистов. В своем безудержном восторге перед гением революции они бесчувственно разрушали живую Россию. <...>

Они видели в ней [революции – М.С.] некоего светлого архангела, осчастливившего Россию своим внезапным появлением в ней.

Считая такие отвлеченные социологические категории, как буржуазия, пролетариат, интернационал за исторические реальности, Россию же лишь за одну из территорий всемирной тяжбы между трудом и капиталом, наши интернационалисты, естественно, ненавидели в России все, что не растворялось в их социологических схемах <...> На борьбу с этими силами и была потому сознательно и бессознательно направлена вся их страстно кипучая деятельность»³.

Именно в пореволюционную эпоху национального срыва *многие русские писатели и публицисты попытались занять по отношению к отечеству позицию венаходимости*. Традиционная интеллигентская двуплановость «ненависти-любви» к «нации рабов»⁴ («во имя России – против России»; освобождение «России от самой себя»⁵) нередко оказывалась снятой, редуцированной до однозначного, безальтернативного отчуждения. В утопиях тогдашних «левых» литераторов, а

¹ Степун Ф.А. Чаемая Россия. СПб.: Издательство русского Христианского гуманитарного института, 1999. С. 7, 8.

² Там же. С. 123.

³ Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. М.: Алетея, 2000. С. 342–343.

⁴ Цитированная выше формула Н.Г. Чернышевского (роман «Пролог» – Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений в 15 тт. Т. 13. М., 1949. С. 197).

⁵ Павловский Г. Тренировка по истории. Мастер-классы Гефтера. М.: Русский институт, 2004. С. 25, 45.

затем и на практике подтвердилось поразительное пророчество Кюстина: «Если кому-нибудь когда-нибудь удастся подвигнуть русский народ на настоящую революцию, то это будет смертоубийство упорядоченное, словно эволюции полка. <...> Будущее мира смутно; но одно не вызывает сомнения: человечество еще увидит весьма странные картины, которые разыграет перед другими эта Богом избранная нация»¹.

В «странной картине» военных действий, развернутых против отечества, «аннигиляция»² всего русского тесно связана с проектами нового *сотворения, переделки, обновления России*. За разрушительными, направленными против традиционной России лозунгами всякий раз стояла некая программа – утопическая, прагматическая, игровая. Многие в послереволюционные годы предлагали свои рецепты «пересоздания» России. Из этого множества можно выделить три основных идеи: *утопическое разрушение-творение* («левая» литература и публицистика под знаком *интернационализма*); *колонизаторское преодоление-переделка* (конструктивизм); *литературное остранение-обновление* (формализм).

Утопическая идея разрушение-творение:

«...до основания, а затем...»

В жизнестроительном творчестве большевиков, по Степуну, было что-то библейское, только вывернутое наизнанку: «Монументальность, с которой неистовый Ленин, в назидание капиталистической Европе и на горе крестьянской России, принялся за созидание коммунистического общества, сравнима разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге Бытия.

День за днем низвергал он на взбаламученную революцией темную Россию свое библейское: “Да будет так”. <...>

Да не будет Бога, да не будет церкви, да будет коммунизм»³. За этими декретами, в сущности, стояли еще два – незаявленные: да не будет прежней России; да будет новая, небывалая Россия!

¹ Кюстин А. де. Указ. соч. Т. 1. С. 305–306.

² «...Мы видим аннигиляцию, выморочность с прекращением всего и вся, обрыв, отягощенный еще трагическими судьбами павших» (Павловский Г. Тренировка по истории. С. 28).

³ Там же. С. 456.

Так старые, привычные формулы отрицания: *Россия безжизненная*¹, *Россия мнимая* – накладываются на знаменитые слова «Интернационала» (Эжен Потье, перевод А. Коца), ставшего с 1918 года официальным российским гимном:

Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

В этих словах в полной мере выражен «двудеинный пафос»² интернационалистов первых лет революции. Сначала – превращение прежней России в «*tabula rasa*» (в оригинале Э. Потье – «*table rase*»³) – чтобы начать как бы с чистого листа, с пустого места. Для революционеров-интернационалистов «революция была все, а Россия – ничто»; для них «Россия была лишь костром для мирового пожара» (П.И. Новгородцев)⁴. Их лозунги фактически объявляли войну России⁵: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь: для чего? Чтобы громом идти на отечество» (В.В. Розанов)⁶.

¹ Этот тезис в начале XX века нередко облекается в апокалиптическую терминологию, как у Д.С. Мережковского: «Не чувствуется ли именно сейчас в России, что близок этот предел, что нисходить нам дальше некуда: еще шаг – и Россия уже не исторический народ, а историческая падаля»; «Не мертвец, восстающий из гроба, а погребенный заживо – Россия нынешняя. Кричит, стучит в крышку гроба – и никто не слышит, только могильную землю, горсть за горстью, набрасывают и ровняют, утаптывают – холм насыпали, крест поставили» (цит. по: Розанов В.В. О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995. С. 422).

² См.: Степун Ф.А. Часмая Россия. С. 55.

³ Знаменательно то, что перевод А. Коца оказывается гораздо радикальнее оригинала. В своем стихотворении Э. Потье призывает «начать жизнь с белого листа» («*Du passe faisons table rase*»). «*Table rase* – устойчивое словосочетание, означающее перемену основ порядка, в частности отказ приемника от юридических обязательств предшественника (*règle dite de la table rase*), которое не означает разрушение или уничтожение чего бы то ни было» (http://wiki.redrat.ru/_export/xhtmll).

⁴ Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991. С. 563.

⁵ «...Революция объявила войну и Московской Руси, и западной России» (Федотов Г.П. Собрание сочинений в 12 тт. Т. 9. Статьи американского периода. М.: Мартис, 2004. С. 45).

⁶ Розанов В.В. Мимолетное. М.: Республика, 1994. С. 328.

Способ сведения на нет всего русского – это насильственное упрощение, тотальная редукция: «Марксизм есть форма <...> РАЗОБЛАЧИТЕЛЬСТВА. Что есть разоблачительство? – Редукция мира к низшим проявлениям. Отсюда воинственность – мир понятен, прост. Следовательно, не менее просто его изменить. Как? При помощи дальнейшей, как говорил Макс Шелер, “игры на понижение”» (Д. Галковский)¹; «Упростить ситуацию до абсурда, многообразие и сложность свести к элементарному, потенциальную поливариантность истории к прямой <...> линии. Вот он – Ленин, вот он – ленинизм!» (Ю. Пивоваров)².

Предвестием редукции/элиминирования привычных элементов русской жизни можно считать требования, которые раздавались еще в первой Государственной Думе: «Я предлагаю слово *Россия* исключить из думских дебатов, так это имя оскорбляет чувства нерусских членов Думы» (слова Н.И. Кареева³). Через двадцать лет подобные заявления воспринимались уже как нечто в порядке вещей; «“Русская история”, – настаивал на рубеже 1920-х–1930-х годов М.Н. Покровский, – есть контрреволюционный термин, одного издания с трехцветным флагом и “единой и неделимой”»⁴. Искореняются коренные качества русского характера, неправильно меняется значение слов со значением «человечности». Например, «в советское время, в связи с насаждавшимся официальной идеологией культом силы, сильной личности, <...> слово *жалость* стало устойчиво ассоциироваться с чем-то унижительным»⁵ (Г. Федотов: «Кажется, жалость теперь совершенно вырвана из русской жизни, из русского сердца»⁶).

Оборотная сторона уничтожения «до основания» («футуристическое отрицание неба и [национальных – М.С.] традиций», «разрушение общепринятого русского языка и замена его интернационали-

¹ Галковский Д. Бесконечный тупик. С. 140.

² Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН, 2004. С. 212.

³ См.: Розанов В.В. О писательстве и писателях. С. 422.

⁴ Историческая наука в борьбе классов: исторические очерки, критические статьи, заметки. Вып. 2. М.-Л., 1933. С. 344.

⁵ Залеская А.А., Левоткина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской картины мира. М., 2005. С. 275.

⁶ Федотов Г.П. Письма о русской культуре. // Русская идея М.: Республика, 1992. С. 381.

стическим ревжаргоном»¹) – «утопическое грядущее»², лихорадка нововведений, революционное творчество.

Этот процесс требовал резкой смены точки зрения. Основной лозунг тех лет: «Дашь мировую революцию!» – подразумевает отмену прежней, национальной мерки, чтобы принять новый, планетарный, всемирно-исторический масштаб. «Пределы его [государства СССР на месте прежней России – авт.], – писал в середине 1920-х годов П.П. Гронский, – безбрежны, оно стремится в идеале впитать в себя все народы мира. <...> Союз Советских Социалистических Республик не представляет из себя прочно установленного государственного порядка, он может в любой момент исчезнуть и в то же самое время способен к беспредельному, ограниченному лишь поверхностью нашей планеты, расширению»³. Не национальное единство, а «крепость мирового коммунизма»⁴ – вот что строят интернационалисты в конце 1910–1920-е годы; отсюда и взгляд на все русское как на пережиток, частный случай, досадную мелочь, мешающую всемирному развертыванию коммунистического строительства.

Пример такого рода логики – роман И. Эренбурга «Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников» (1922). Интернационалистский взгляд на Россию здесь иронически воплощен в образе главного героя – Хулио Хуренито. Действительно, «учитель»-иностранец в романе – не столько полнокровный, жизнеподобный персонаж, сколько олицетворенная позиция вневременности: даже погружаясь в гущу российских катастрофических событий, Хулио Хуренито умудряется смотреть на Россию из «прекрасного далека» – предельно-обобщенно, с точки зрения всемирно-исторического процесса. Такой взгляд исполнен иронии по отношению к «живой России»: *все в «этой стране» – или препятствие для неизбежной мировой революции, или средство. Русь – это то, с чем нужно порвать* («Теперь

¹ См.: «Нововыдуманные слова, перекошенные склонения и спряжения, рваные фразы – как крушат старый мир, так взламывают и язык старого мира» (М.Л. Гаспаров о Маяковском – *Гаспаров М.Л. Маяковский: первый разговор с товарищем Лениным // Круг чтения. Литературный альманах. Вып. 5. М.: Фортуна-Лимитед, 1995. С. 76).*

² *Стелун Ф.* Бывшее и несбывшееся. С. 343.

³ *Гронский П.П.* Юридическая природа С. С. С. Р. // Сборник, посвященный 55-летию со дня рождения и 35-летию научной деятельности П.Б. Струве. Прага, 1925. С. 180, 181.

⁴ *Пивоваров Ю.* Полная гибель всерьез. С. 217.

время зачина, то есть варварства, огульного отрицания, примитивной мощи первых жестов, коими (в отличие от обычных) очарована не перепуганная мамаша [например, старая Россия – М.С.], но сам достаточно влюбленный в себя младенец <...> чтобы младенец жил, надо труповину отрезать»¹) или *то, что можно использовать в своих целях* (««разинюшница», то есть вздыбленная Россия, разор, раздор, жажда еще немного порезать – для коммунистов теперь то же, что для паровоза дрова. <...> Эти [крестьяне – М.С.] <...> буйствуют, томятся, хотят не то поджечь весь мир, не то мирно расти у себя дубками на пригорках, как росли их деды, но, связанные верной рукой, летят в печь и дают силы ненавистному им паровозу»²). Революция, согласно Эренбургу, сначала обнажает роковую российскую пустоту и бессмысленность («...увидали мы не страну, но чудовищную топь, с восстаниями и усмирениями, подобными ознобу, невыносимо нищую, на все речи, воззвания, манифесты отвечающую все тем же неистребимым “чаво?” – безразличья, косности, смерти»³), чтобы затем внеположная России сила большевиков («тысяч новых подвижников») «пересоздала все заново»⁴.

Это «пересоздание» мыслится не только во всемирном, но и во вселенском масштабе; советский марксизм «подчиняет исторический материализм диалектическому материализму, или, иначе говоря, историческая жизнь человечества подчиняется космической жизни, и, в частности, вся история классовой борьбы оказывается частью единого космического процесса становления материального мира» (Б. Гройс)⁵.

России служат только для того, чтобы оттолкнуться от нее в порыве «галактического авось»⁶, в стремлении к фантастической, сверх-

¹ *Эренбург И.* Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников. М.: Эксмо, 2008. С. 125. Ср. со стихотворением И. Эренбурга, появившимся всего через два года после его сворбной «Молитвы о России» (1918): «Все, чем мы были или быть не смогли, / Смыли черные волны. / Смейся громче, дитя земли, / В руце твоем новое солнце!» (Эренбург И. Стихотворения. Л.: Сов. пис., 1977. С. 114).

² *Эренбург И.* Необычайные приключения Хулио Хуренито... С. 153.

³ Там же. С. 165.

⁴ Там же. С. 181.

⁵ *Гройс Б.* Поиск русской национальной идентичности // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М.: Медиум, 1993. С. 49.

⁶ *Галковский Д.* Бесконечный тупик. С. 225.

человеческой новизне. Писатели первых лет советской власти охотно расширяли тему интернационализма до межпланетных величин, представляли революционную экспансию в духе «марсианской» научной фантастики. Пример был подан еще до 1917 года утопическим романом А.А.Богданова «Красная звезда» (1908): в нем «старшие» марсиане передавали опыт коммунистического строительства русскому революционеру. «...Труд – естественная потребность развитого социалистического человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно для нас излишни», – так говорят марсиане о своей цивилизации, а землянам – предсказывают неизбежность коммунизма: «Он [мир землян – М.С.] в полусне, но он проснется, я чувствую это, я глубоко верю в это!»¹ Одним из средств «пробуждения», по Богданову, должен стать «марсианский» новояз, порождающий у человека «представление о мире как об особой системе, где все предопределено, управляемо и интегрировано по отношению к тому, как “должно быть”»². В «небывалом» языке автор видит «странную магию, спокойную и холодную, без заклинаний и мистических украшений, но тем более загадочную в своем сверхчеловеческом [и, добавим, сверхнациональном – М.С.] могуществе»³.

Неслучайно В.В. Маяковский в 1920 году метафорически писал о творческой воле партии и рабочего класса как о космической энергии: «Поэтом не быть мне бы, / если б не это пел – / в звездах пятиконечных небо / безмерного свода РКП»⁴ (а Н.С. Тихонов тогда же о творческой жажде красноармейца – как о «марсианской»⁵). В межзвездных гиперболах проявлялась мечта о новом, оторвавшемся от российской реальности человеке, «творце такого будущего, которое не имеет не единой точки соприкосновения с прошлым. Каким чудом, каким скачком может совершиться переход из того мира, который он [поэт –

¹ Богданов А.А. Красная звезда // Вечер в 2217 году. М.: Московский рабочий, 1990. С. 143.

² Бледный С.Н. Язык как фактор манипулятивного управления массовым сознанием в социальной философии А.А. Богданова // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. №3. 2004. С. 95.

³ Богданов А.А. Красная звезда. С. 119.

⁴ «Владимир Ильич» – Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. Т. 2. С. 178.

⁵ «Праздничный, веселый, бесноватый, / С марсианской жаждою творить...» («Праздничный, веселый, бесноватый...» – Тихонов Н. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. пис., 1981. С. 90).

М.С.] ненавидит [Россия как она есть – М.С.], в тот мир, к которому он рвется, – этого он и сам не знал. <...> Будущее он представлял себе по космическим фантазиям Николая Федорова: человечество воскрешает своих предков и распространяется по вселенной»¹.

Особенно глубокий художественный анализ интернационалистских мифов находим в самых острых оппозиционных памфлетах того времени. В антиутопии Е. Замятина «Мы» доведена до конца, до абсурда насильственная по отношению к России логика редукции; смещен привычный сюжет тогдашней фантастики – победа над старой Россией за счет идеальной организации коллективного труда. В сатирах М. Булгакова «Роковые яйца» и «Собачье сердце» высмеяна идея творения нового человека по ту сторону национальной «ограниченности» и спародирован другой фантастический мотив – научное изобретение, присвоенное пролетарской массой и подрывающее старую Россию.

В основе замятинского романа «Мы» – протест против интернационалистской унификации личности. Это и критический итог многовековой утопической традиции, и резкий отклик на ситуацию революционного времени. Идеальное («интегральное», как будто по А. Богданову) государство выстроено Замятиным-фантастом как «математический» предел коммунистического упрощения: в государстве как машине человеку грозит превратиться в функцию, в условный знак («Д-503»), душе его – подвергнуться стерилизации («прежняя моя болезнь (душа)»), воле его – слепо подчиниться «Благодетелю». Писатель поставил точный диагноз: фантастическая цель «тотального» государства – устранить внутренний мир человека, в том числе и вытравить из него «национальную душу». Это позволит сделать человека прозрачным, просматриваемым и так приравняет его к вещи.

Идея булгаковских памфлетов – за эволюцию, научную и социальную, против интернационалистской утопии. Революция, в том числе и научная, – противоестественна: магический «луч жизни», открытый профессором Персиковым («Роковые яйца»), став орудием в руках пролетария, порождает чудовищ. Русская революция сама по себе гипербола – чудовищное преувеличение нелепостей человека и общества; вот и фантастическое открытие, присвоенное интернациональной властью, ничего не создает, но лишь увеличивает страусов и

¹ Гаспаров М.Л. Маяковский: первый разговор с товарищем Лениным. С. 76-77.

змеи до «хтонических» размеров. Герой другой повести Булгакова – профессор Преображенский – сам же и обвиняет себя за попытку искусственного вмешательства в «эволюционный порядок» природы; в результате революционного научного опыта милая уличная дворняга «преображается» в отвратительного «гомункла» люмпен-пролетария, с невероятной быстротой усваивающего лозунги интернационализма.

Этот научный опыт, давший Шарикова, вполне рифмуется с социальным опытом, проведенным Советской властью и давшим Швондера – олицетворенное насилие над национальным складом и естественным ходом вещей. Итак, *пределом интернационализма становится не-человек* – «преображенный» Шариков, персонаж, завершающий галерею гротескных космополитов в русской литературе: *фонвизинский периметр – тургеневский «усовершенствованный» слуга – Смердяков – чеховский Яша*.

Идея колонизаторского преодоления-переделки России в теории и литературной практике конструктивистов

В декларациях конструктивистов (1920-е годы), наверное, чаще всего «всплывают» отрицательные формулы Кюстина: *Россия – бессмысленная, бес-порядочная, недо-цивилизованная, антитеза западной норме*. И это в высшей степени симптоматично: конструктивисты именно придерживаются логики цивилизованных колонизаторов-иностранцев, призванных просветить туземное население. Вот пример из «Бесконечного тупика» Галковского: «Большевик Ногин на XII съезде живописал исключительную храбрость и мужество колониальной администрации:

“Кое-кто из статистиков совершает целые подвиги. Например, на Кавказе некоторым товарищам пришлось подвергаться опасностям во время обвалов. В Самарской губернии им пришлось точно так же испытать целый ряд лишений вследствие того, что тех лошадей, на которых они двигались, съедали”. Стихийные бедствия: обвалы, туземцы»¹.

Отсюда и тезисы конструктивистов, так обобщенно изложенные А. Гольдштейном: «Говоря упрощенно, советский литературный конструктивизм, рассматриваемый как идеология, есть руководство к

¹ Галковский Д. Бесконечный тупик. С. 411.

действию по борьбе с традиционной Россией. Ибо Россия являет собой отрицание какой бы то ни было конструктивной целесообразности, функциональной грузификации. Россия – это тысячи километров тяжелой, косной материи, лежащей вне сферы смысла, материи неорганизованной, неструктурированной, неразумной <...> *Россия – это то, что нужно преодолеть*¹ (курсив мой – М.С.).

«Степи да степи, дрянь-народ, рухлядь-городишки»², «обломовский табор»³, царство вшей⁴ – это наследство Руси, от которого конструктивизм прямо отказывается: «...Конструктивизм – никак это не “русского стиля” явление и не только не нашедшее себе никакого выражения в наших культурных традициях, <...> а, напротив – враждебное, чуждое и непонятное им»⁵.

«Идея социализма сейчас для нас, в первую голову, – писал К. Зелинский, – идея гигантского технического наступления на природу – одинаково как на тощую природу трехполки, так и на “природу” почесывающегося, грязного и вшивого быта»⁶ – то есть, именно российский быта. *Россия – это болезнь, от которой большевистское государство начинает выздоравливать: «Мы начинаем свою жизнь как бы с самого начала, не стесняемые в конце концов никакими пред-рассудками, никаким консерватизмом сложной и старой развитой культуры, никакими обязательствами перед традициями и обычаями, кроме предубеждений и обычаев звериного прошлого нашего, от которой мысли или сердцу не только трудно оторваться, но от которой отталкиваешься с отвращением, с чувством радостного облегчения, как после тяжелой неизлечимой болезни»⁷. Лечение должно быть радикально – Россию, «слабую бесталанную страну»⁸, нужно перевернуть на 180 градусов – с головы на ноги: «Россия была Америкой (в техническом смысле), поставленной на голову. Революция с ней сделала то,*

¹ Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыт номинальной риторики. М.: Новое литературное обозрение, 1997. С. 95.

² Е. Габрилович «Собеседование» (Бизнес. М., 1929. С. 129).

³ К. Сельвинский «Пушторги» – Сельвинский К. Избранные произведения. Л.: Сов. пис., 1972. С. 364.

⁴ Зелинский К. Конструктивизм и социализм // Бизнес. М., 1929. С. 28, 41.

⁵ Там же. С. 37.

⁶ Там же. С. 36.

⁷ Там же. С. 49.

⁸ Е. Габрилович «Ошибки Штунца» (Бизнес. С. 113).

что Маркс с гегелевской диалектикой, – она поставила нас на ноги. Рудинская головная культура утратила ныне свои соки. Кровь равномерно начинает разливаться по всему телу» (курсив мой – М.С.)¹.

Технический прогресс мыслился в образах «войны миров» – как планомерные боевые действия сильной цивилизации против слабой: «... Я слышу скрип бесчисленных рейсфедеров, которые наносят планы механических левиафанов нового мира. Я слышу дязг железа, я вижу зародыши цифр, вырастающие серыми корнусами. Это стадо железных слонов. И я, новый Ганнибал, веду его на дряхлеющий Рим [читай: Россию – авт.]. Я вижу, как переворачиваются руды. Поистине я осязаю это круговращение металла, которое начинает гудеть в нашей стране» (К. Зелинский)²; «И всюду, куда не помотришь, справа налево и слева направо, с запада на восток и с востока на запад, шагают по диагоналям развернутым строем передаточные столбы токов высокого напряжения. Шестирукие и четырехногие, они чудовищно шагают, как марсиане, отбрасывая решетчатые тени на леса и горы, на рощи и реки, на соломенные крыши деревень...» (В.П. Катаев³). Конструктивистами провозглашается «пришествие» «русского американца» (Л. Сосновский: «Американцы всея Руси, объединитесь!»⁴; И. Катаев «Сердце»: «Америка, двадцать Америк, Америка в десятой степени – вот твой завет»⁵).

На рубеже 1920–1930-х годов пришло время обобщить конструктивистский проект (в широком смысле слова) и сделать выводы. Такими вехами можно считать два произведения того времени, посвященные петровской эпохе, – «Епифанские шлюзы» А. Платонова и «Петр Первый» А.Н. Толстого. Обратившись к мифическим истокам западной «модернизации» – к эпохе основания Петербурга, оба автора, в сущности, оценивали современные усилия по преодолению российской «косности»: Платонов – пессимистически (почти в соответствии с миллюковским знаменитым высказыванием о петровской

¹ Там же. С. 58.

² Зелинский К. Поэзия как смысл. Книга о конструктивизме. М.: Федерация, 1929. С. 58.

³ Катаев В. Растратчики. Время, вперед! (повесть, роман-хроника). М.: Текст, 2004. С. 247.

⁴ Сосновский Л. Дела и люди. Книга первая. М.: Л., 1925. С. 133.

⁵ Катаев И. Под чистыми звездами. М., 1969. С. 100.

эпохе: «Россия всегда строит только руины»¹), Толстой – зловеще оптимистически.

В качестве комментария к «Епифанским шлюзам» можно привести характеристику петровской реформы Галковским: «В мире не было ничего фантастичнее петровской реформы. Представьте себе, что Индия XVII века в болотистых джунглях строит Лондон 1:1, с Тауэром, Биг Беном, и начинает сама себя колонизировать <...> вытягивает себя из азиатского болота за косичку, как барон Мюнхгаузен. Удивительнейшая цивилизация. И страшная»². Эти слова во многом восходят именно к повести Платонова, описавшей петровский «конструктивизм» как нежизнеспособную схему, несбыточный проект. Согласно А. Платонову, в основании конструктивистской идеи «преодоления России» скрывается бюрократическая ошибка; столичные «сводно-канальные установления» и «тайные приказы» более чем активны, но в отрыве от остальной России, живущей своей тайной, «неведомой» жизнью³. «Планиметрическая мозговая игра» российской бюрократии, призрачная воля предписаний и срочных депеш – все это тщетно. Результат петровской утопии предрешен: «проект по коммутации рек Дона с Окою»⁴, порученный иностранцу, обернется бессмысленным террором и завершится ничем. Символична концовка рассказа: героя-иностранца насилует палач, символизирующий «стихию, в своем крайнем проявлении идентичную маниакальной организующей [русской – М.С.] государственности»⁵.

Иной по смыслу вывод из западничества 1920-х годов сделал А.Н. Толстой – на том же материале – в романе «Петр Первый». Вот парадокс: утверждение дела Петра и прославление Петербурга обернулось в романе разрывом с традиционной патриотической темой и с гуманистической традицией русской литературы. В романе Петербургу возвращены торжественные эпитеты: он был вновь провозглашен

¹ Цит. по: Пивоваров Ю. Полная гибель всерьез. С. 237.

² Галковский Д. Бесконечный тупик. С. 16.

³ «На планшетах в Санкт-Петербурге было ясно и сподручно, а здесь, на полуденном переходе до Танаида, оказалось лукаво, трудно и могущественно»; «Петербургские проекты не посчитались с местными натуральными обстоятельствами» (Платонов А. Избранные произведения. М.: Экономика, 1983. С. 179, 189).

⁴ Там же. С. 171.

⁵ Гольдштейн А. Указ. соч. С. 108.

«душой России»¹; его строительство – победой над природой², покорением бога Нептуна³, «началом славных дел», «далеких замыслов и трудных начинаний».

Умолчал ли при этом Толстой о страшной стороне этого «начинания»? Вовсе нет: не умолчал ни о голоде⁴, ни о болезнях⁵, ни о подневольном труде и терроре⁶. Как это могло совместиться в тексте с панегирической интонацией?

У Толстого к 1934 году, времени написания второго тома, уже был опыт подобного совмещения – в коллективной книге, посвященной строительству Беломорканала – «Канал имени Сталина». Именно поездка на Беломорканал (1933) и дала ему необходимый материал и еще более необходимый пафос для прославления подневольного труда. Действительно, аналогия между двумя стройками напрашивалась сама собой: и там, и там – борьба с суровой северной природой, жесточайшая эксплуатация заключенных («колодников»), отношение к людям как к «сырью»⁷.

Проводя эту аналогию, Толстой идет еще дальше. Одна из центральных метафор третьей книги «Петра» – «ковка железа»: «От битья железо крепнет, человек мужает»⁸. Не перекликается ли она с лозунгом Беломорканала – «перековка»? М. Горький писал, представляя книгу о Канале: «...Книга рассказывает о победе небольшой группы людей, дисциплинированных идеей коммунизма, над десятками ты-

¹ «Без Питербурха нам – как телу без души» (Толстой А.Н. Петр Первый. Роман. М.: Худ. лит., 1981. С. 565).

² «Здесь, на краю русской земли, у отвоеванного морского залива, за столом у Меньшикова сидели люди новые...» (Там же).

³ «Бог Нептун, колебатель пучин морских, лег на крыше дома сего вельможи, в ожидании кораблей, над конями мы все трудились даже до мозолей» (Там же. С. 568).

⁴ «Ели корни и толкли древесную кору» (Там же. С. 571).

⁵ «Начиналась чума» (Там же).

⁶ «С востока потянулись бесчисленные обозы, толпы рабочих и колодников»; «Сюда, на край земли, шли и шли рабочие люди без возврата» (Там же. С. 540).

⁷ М. Горький: «Человеческое сырье обрабатывается неизмеримо труднее, чем дерево, камень, металл» (Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. М., 1934. С. 402).

⁸ Толстой А.Н. Петр Первый. С. 568.

сяч социально-вредных единиц¹, то есть о перевоспитании («перековке»), немногими (в пределе, всего одним человеком) многих. Не та же ли миссия – у Петра в романе Толстого: переделать, «перековать» целый народ? Ведь именно об этом – слова царевны Натальи: «Государь сверх сил из пучины нас тянет. Недоспит, недоест, сам доски пилит, сам гвозди вбивает, под пулями, ядрами ходит, только чтоб из нас людей сделать...»²

Общее место петербургской темы XIX – начала XX века: «Здесь совершилось чудовищное насилие над природой и духом»³ – перевернуто Толстым в духе лозунгов из агитационной газеты, издаваемой на Беломорканале, – «Перековка»: «Дамбы охватили мощь морей и рек!», «Да здравствует переплавка правонарушителей в огне творческого труда!» Чем чудовищнее насилие, тем лучше результат: больше «выработка», выше «рекорд»; строительство Петербурга как «рекорд» государственности – вот что сталинская идеология в лице Толстого выпянула из петербургской темы. Что это значит? Что новая – по-настоящему страшная – эпоха совпала с карикатурой Кюстина.

Идея острашения-обновления и борьба формалистов с инерцией классической русской литературы

«Внезапно, как случается все закономерное, – писал Б. Эйхенбаум в 1924 году, – случилось так, что Россия стала страной переводов. Это началось еще в 1918 году. Русская литература уступила свое место “всемирной”⁴. Закономерность здесь – в необходимости советских писателей преодолеть инерцию классической русской литературы, стать по отношению к ней в позицию венаходимости. Отсюда и следствие: «Явилась тяга к чужому, хотя бы и в совершенно фантастическом воплощении. Нужно, чтобы звучало иностранно. Чтобы было иное и странное <...> является русско-иностранная проза – русский язык начинает звучать как английский или как немецкий. <...> Зямытин стал писать, как англичанин <...> Каверин пишет так, как будто думает по-немецки»⁵.

¹ Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. С. 402.

² Толстой А.Н. Петр Первый. С. 551.

³ Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Т. 2. С. 51.

⁴ Эйхенбаум Б. О литературе. Работы разных лет. М.: Сов. пис., 1987. С. 366.

⁵ Там же. С. 368.

Эйхенбауму вторит его соратник-формалист В. Шкловский: «Иностранец из Парижа, <...> Бабель увидел Россию так, как мог ее увидеть француз-писатель, прикомандированный к армии Наполеона». Автор «Конармии», «чужой армии, он иностранец с правом удивления». Бабель — «иностранец даже в Одессе»¹. «В условно “заграничных” тонах»² написан роман «Месс-Менд» М. Шагинян, по моде двадцатых годов, взявшей себе иностранный псевдоним — Джим Доллар. «Переименования» поистине стали поветрием: О. Савич и В. Пиотровский пишут под псевдонимом Ренэ Каду, С. Заяицкий берет имя Пьера Дюмьеля и т.д. Идеолог «Серрапионовых братьев» Л. Луцц провозгласил лозунг «На Запад!»; началось «массовое производство западных романов»³ на русской почве. О себе и многих литераторах двадцатых годов Эйхенбаум писал, как о «русских иностранцах» в литературе: «Смесь еврейской крови с русской образует, очевидно, особое химическое соединение, имеющее сродство с кровью романо-германских народов»⁴.

Теорию «смещения» с русской точки зрения на «условно-заграничную» разработали сами формалисты. Один из важнейших концептов формалистической теории — *концепт «борьбы и смены»*. Преемственность, наследование традиции русской литературы в мире, описываемое формалистами, крайне затруднены, прямая связь с отечественной словесностью приравнена к деградации: линии, которые они прослеживают, уходят вкось, традиции, которые они реконструируют, — «подземные и боковые».

Известно, что в их терминологической системе особое значение имеют метафоры войны и революции. Так, выступления Пушкина против поздних карамзинистов Ю.Н. Тынянов называет «гражданской войной», а попытку посредничества — попыткой примирить враждующие армии⁵. Известно, что и сами формалисты не признавали «мира» ни в литературе, ни в науке: «мирный» и «гладкий» для них

¹ Шкловский В. Гамбургский счет. Статьи — воспоминания — эссе (1914 — 1933). М.: Сов. пис., 1990. С. 367-368.

² Там же. С. 192.

³ Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 153.

⁴ Эйхенбаум Б. «Мой современник...» Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. СПб.: ИНАПРЕСС, 2001. С. 51.

⁵ Тынянов Ю.Н. Пушкин и его современники. М.: Наука. 1968. С. 70.

эпитеты с клеймом. Для нас же вот что важно: в трудах формалистов речь идет о борьбе с русской литературной традицией — по аналогии с классовой борьбой или биологической борьбой за существование («революция», «империализация», «экспансия» «разложение», «выпадение», «невязка», «разрыв», «деформация»). «Эпохам» Тынянов называет декады — и это в сравнительно медленном XIX веке; в XX же веке — «стремительность смен», «жесткость борьбы», «быстрота падений»¹. Литературный процесс описывается Тыняновым в стиле газетной хроники: «один поэт-одиночка говорил мне, что каждый час меняет положение»². Это как бы сводки с полей сражений; противник — отечественная классика.

Другой пример: что интересует Шкловского в наследии Розанова? Что филолог отмечает в том, о ком пишет? Что берет у него? Прежде всего для Шкловского важна идея «конца литературы». Говоря о закате, разложении русской литературы, Розанов воспринимал это как катастрофу (может быть, необходимую). Шкловский же принял эту идею с бодрым, революционным энтузиазмом: не конец, а обновление — отмена старого и отжившего. Он прямо говорит о «революции»: «Каждая новая литературная школа — это революция, нечто вроде появления нового класса». Затем — о «восстании»: «Вещи устраивают периодически восстания. В Лескове восстал “великий, могучий, правдивый” и всякий другой русский язык, отреченный, вычурный, язык мещанина и приживальщика. Восстание Розанова было восстанием более широким, — вещи, окружавшие его, потребовали ореола. Розанов дал им ореол и прославление»³.

Для борьбы с инерцией русской классической литературы необходимо оружие — и это прежде всего прием остранения. Цитата из Розанова: «ремонт мостовой» — превращается у Шкловского в реализованную метафору, обозначающую «современную ситуацию» — «словом» и «промежутком» в литературе. Прием Розанова представляется Шкловскому своего рода архимедовым рычагом, с помощью которого можно перевернуть русскую литературу.

Интересны попытки формалистов и близких к ним литераторов реализовать теорию остранения в литературной практике. Речь прежде всего о «формалистическом» романе В. Каверина «Скандалист,

¹ Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 169.

² Там же.

³ Шкловский В.Б. Гамбургский счет. С. 121, 126.

или Вечера на Васильевском острове». Сюжетом романа управляет наступательная, воинственная терминология формализма. Конечно, неслучайно одна из глав романа называется «Давление времени»: в «Скандалисте...» все время ощущается требование «сдвига», «смещения», «ухода вкось»; тыняновские метафоры «разложения», «выпадения», «невязки», «деформации» диктуют логику романских перипетий. В «Скандалисте...» — что вчера было новым, сегодня становится штампом и требует обновления. Такова хроника преодоления русской литературной традиции.

Сюжет каверинского романа определяется динамическими оппозициями: «автоматизация» — «остранение» (Шкловский), «центр — периферия» (Тынянов). «Автоматизация» восприятия — проклятие России как «старого мира»: у тех, кто упустил время, неощутимы — речь, филологическая работа, быт¹. Тема «автоматизация» постоянно сопровождается в романе метафорами умирания и смерти. В неизменных библиотеках, обслуживающих старую науку, даже рукописи — «задыхающиеся». Университетское здание уподоблено гробу (глава «Здесь читал профессор Николай Васильевич Гоголь-Яновский»); стареющий профессор Ложкин оказывается заперт в его стенах, и, блуждая по его коридорам, всякий раз упирается в одни и те же ассоциации: «Здесь читал когда-то покойный»; «Это место принадлежало, кажется, физическому кабинету. Или, вернее, скелету физического кабинета». Стоит тому же профессору произнести затверженную формулу неизменности: «все это бывало и раньше, ничего не случится, продолжение следует», — как тут же, словно возмездие, возникают слова «ладан», «панихида», «покойник»².

«Смерть Петербурга» в «Скандалисте...» — это смерть старой русской науки, превращение старой русской литературы в мертвый штамп.

Врывающаяся на место отмененной традиции новая литературная тенденция воплощается в автобиографическом герое — Ногине. По тыняновской схеме, его маршрут должен быть «боковым»: Ногин — «младший» герой (и по возрасту, и по репутации), он должен направить энергию «периферии» в «центр»: он знает, что «мир разорван,

¹ Так, Халдей Халдеевич не говорит, а «жужжит»; о Ложкине сказано: «Машинальность, с которой он читал лекции, слыхал рукописи, обедал, ужинал, жил с женой, внезапно показалась ему оскорбительной» (Каверин В. Избранные произведения. В 2-х тт. М., 1977. Том 1. С. 247, 251).

² Там же. С. 243, 268–269, 244.

борьба неустранима» (вновь цитирование Тынянова), и «он не потерял времени. Он только шел боковой дорогой и теперь возвращается — вооруженный»¹.

Идущий «вкось» «маленький человек» выпадает из Большого Времени России и Петербурга. Он не может опереться на исторические аналогии, ему противопоставлены цитирование Петербургского текста² и вообще оглядка назад. Так, аналогия наводнения 1924 года с катастрофой «Медного всадника» оказывается ложной: буйство стихии в «Скандалисте...» смывает старые петербургские мифы. Любопытно, что тот же ход совершает в своем «Временнике» еще один мэтр формализма — Б. Эйхенбаум. «Вода стояла высоко. Город вздрагивал всю ночь. Цитатой из Пушкина торчал на скале Петр», — так Эйхенбаум провоцирует читательские ожидания. И нарочито обманывает их: «К утру все было спокойно. Вторично поэма не удалась»³. И у Каверина, и у Эйхенбаума «маленький человек» бунтует не против Медного Всадника, а против старой русской литературы и ее мифов: «А я хочу просто жить. Не хочу ни вздрагивать, ни показывать кулак и кричать: “Ужо, строитель чудотворный!”»⁴.

Молодой Ленинград и «маленький человек» показывают кулак не Медному Всаднику, а петербургскому периоду русской литературы.

Подобное, воинствующее отношение к старой русской литературе характерно для многих писателей 1920-х годов. Так, И. Бабель «в борьбе с литературными “отцами” [по терминологии формалистов — М.С.] <...> обратился за помощью не к русским “дядям”, а к французскому “отчиму” — французской литературе и прежде всего Ги де Мопассану, который «используется как орудие борьбы, нежели как идеальный образец для подражания»⁵ (курсив мой — М.С.).

¹ Там же. С. 389.

² См.: Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. Избранное. М.: Прогресс, 1995.

³ Эйхенбаум Б. «Мой временник...» С. 38.

⁴ Там же. С. 39.

⁵ Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. Бабель / Babel. М.: Carte Blanche, 1994. С. 8.

«Русские денди» 1920-х годов: эпатажное отрицание/поругание России как прием

Перед тем, как обратиться к литературной ситуации рубежа XX–XXI веков, стоит проверить: что из наследия формалистов действительно востребовано в современной литературе? Ответ: игровой, иронический жест.

В пореволюционные годы как литература, так и филология играли по правилам «qui pro quo»: поэтическая поза и политическая позиция, расчетливые литературные приемы и выстраданные идеи, постоянно меняясь местами, порой становились неразличимыми. В то время решительно никому нельзя было верить на слово. Например, А.Н. Толстой обличал «эстетов, формовщиков, стилистов, красочников»¹ – притом, что его сила была как раз в споровке «формовщика» и «стилиста». Поэтому саморазоблачение отрицательного героя толстовского романа: «Россия – это “что”, а мы – это “как”», – вполне могло восприниматься вместо авторского кредо, а призывный вопрос положительного героя: «В Россию, в русский народ веришь?» – маскирующим это кредо приемом. Именно эта тенденция – «экспансии», «империализации» приема², выдвижения «как» за счет «что» – во многом определяет современную литературу.

В блоковской статье 1918 года «Русские денди» приводится диалог автора с молодым поэтом:

« – Неужели вас не интересует ничего, кроме стихов? – почти произвольно спросил, наконец, я.

Молодой человек откликнулся, как эхо:

– Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы – пустые, совершенно пустые»³. «Так вот он – русский дендизм XX века! – Заключает Блок. – Его пожирающее пламя затеплилось когда-то от искры

¹ «Егор Абовов» – Толстой А.Н. Собрание сочинений в 10 тт. Т. 2. М.: Худ. лит., 1982. Т. 2. С. 503.

² Термины Ю. Тынянова.

³ Блок А. Сочинения в двух томах. М.: Худ. лит., 1955, Т. 2. С. 261. Об этой статье и судьбе выведенного в ней поэта и переводчика В. Стенича см.: Вахитова Т.М. «Русский денди» в эпоху социализма: Валентин Стенич // Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Книга 2. СПб., 2001; В. Стенич: Стихи «русского денди» / Предисловие Л.Ф. Кациса // Литературное обозрение. 1996, № 5/6; Кунина-Александр И. Сорок январей // Литературное обозрение. 1991, № 9.

малой части байроновской души; во весь тревожный предшествовавший нам век оно тлело в разных Брэмелях, вдруг вспыхивая и опалая крылья крылатых: Эдгара По, Бодлера, Уайльда <...> оно подпалило кое-что на пустошах “филантропии”, “прогрессивности”, “гуманности” и “полезностей”; но, подпалив кое-что там, оно перекинулось за недозволенную черту.

У нас от “москвича в гарольдовом плаще” оно потянулось подсушивать корни, превращая столетние клены и дубы дворянских парков в трухлявую дряблую древесину бюрократии. Дунул ветер, и там, где торчала бюрократия, ныне – груды мусора, щепы валежника. Но огонь не унимается, он идет еще дальше и начинает подсушивать корни нашей молодежи»⁴. Дендистский «огонь» отрицания направлен против России – таков, в частности, блоковский диагноз.

Ход тогдашних денди, отзывающийся в денди нынешних, – отрицание России как прием. В пореволюционную эпоху ради литературного эффекта, ради экстравагантного жеста Маяковский называет себя «заморским страусом», а Родину – «снеговой уродиной»⁵, и этот жест подхватывают его подражатели-имажинисты:

Твои шедро
Тела богатства
Разделить надо во имя братства⁶;

Какое имя – Россия,
Другое ли,
Все равно, – только тем, кто несет погромные колья,
Стихов серебряные росы⁷.

В маленькой 16 главе итоговых мемуаров бывшего имажиниста А. Мариенгофа «Мой век, мои друзья и подруги», в которой упоминается одно убийство (графа Мирбаха) и три расстрела (Я. Блюмкина, Я. Агранова, Вс. Мейерхольда), рассказывается также о Л. Троцком, читающем имажинистскую «Гостиницу для путешествующих в красном», с ее манифестом на первой странице: «До чего же измени-

⁴ Блок А. Указ. соч. С. 261–262.

⁵ «Россия»: «Я не твой, снеговая уродина. // Глубже / в перья, душа, уложись! // И иная окажется родина, // вижу – / выжжена юная жизнь» (Маяковский В.В. Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 344).

⁶ А. Мариенгоф. «Россия» (Поэты-имажинисты. СПб: Петербургский писатель, 1997. С. 199).

⁷ А. Мариенгоф. «Слепые ноги» (Там же. С. 221).

лась природа прекрасного в наши дни!

Всего лучше читатель усвоит ее, если удосужится всмотреться в тяжелую походку слова, в грубую манеру рисунка тех, кто совершает ныне по ней небезопасную экспедицию.

Спрашивается: почему же она все же называется прекрасной? Могут ли бесчисленные обвалы, пропасти и крутизны дать ей такое имя? <...>

Мы ищем и находим подлинную сущность прекрасного в катастрофических сотрясениях современного духа, в опасности Колумбова плаванья к берегам нового мирозерцания (так понимаем мы революцию)...¹ – то есть в бедах Родины.

Революционное время, с его «обвалами», «пропастями» и «катастрофическими сотрясениями», губящими Россию, Мариенгоф воспринимает – как А. Дюма эпоху Людовика XIII и Ришелье. История для обоих – эффектное зрелище, игра страстей, праздник успеха и славы; Мариенгоф же – «русский иностранец», циничный наблюдатель этого праздника. На беды России он отвечает рефреном восхищения. Эта тема звучит в его ранних стихах, в альманахе «Явь»:

Каждый наш день – новая глава Библии,
Каждая страница тысячам поколений была Великой.
Мы те, о которых скажут:
– Счастливы в 1917 году жили².

Начало «Трех мушкетеров» могло бы послужить превосходным метафорическим комментарием к сюжету знаменитого Мариенгофского «Романа без вранья»: «В те времена такие волнения были обычным явлением <...> Знатные господа сражались друг с другом; король воевал с кардиналом; испанцы вели войну с королем. Но, кроме этой борьбы – то глухой, то явной, то тайной, то открытой, – были еще и нищие, и гугеноты, бродяги и слуги, воевавшие со всеми». Война всех против всех («Bellum omnium contra omnes») – эта формула Т. Гоббса, рожденная как раз эпохой Д'Артаньяна («Подчиняясь странным обычаям своего времени, Д'Артаньян чувствовал себя в Париже словно в завоеванном городе»), в той же мере применима и к советским денди

¹ Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М.: Московский рабочий, 1990. С. 139–140; манифест «Не передовица» дит. по изд.: Гостиница для путешествующих в красном. 1922. № 1. С. 1–2.

² «Каждый день – новая глава Библии...» (Поэты-имажинисты. С. 203).

– имажинистам. Для самоутверждения в литературной войне 1910–1920-х годов они и прибегают к эпатажному поруганию России.

Если вновь для примера обратиться к «боевой» установке И. Бабеля, то стоит заметить: внеаходимость для него – маневр в борьбе за литературную власть (его alter ego «предстает перед ними [казаками, персонажами “Конармии”] человеком иного мира, гордым и скучающим марсианином, наблюдающим любопытную популяцию земных позвоночных»¹); «позиция чужака, стороннего наблюдателя оказывается стратегией присвоения русской литературы, овладения ей»². Когда Бабель записывает в дневнике: «Славяне – навоз истории?»³, он на самом деле стремится использовать этот «навоз» для приема и обретения литературной власти.

Культурная ситуация рубежа XX–XXI веков: бытовые стереотипы и «речевые жанры» современного «апатритизма»

Перейдем от ситуации 1920-х годов к очередному fin de siècle, рубежу XX–XXI веков. Спрашивается, в чем причина такого новейшего явления, как литературный «апатритизм», отталкивание писателей от отечества, их стремление к внеаходимости?

Первая причина – в настроении читающей публики, в исходящем от нее социальном заказе. Вспомним, в начале XIX века А. Грибоедов заклеил русское образованное сословие формулой «поврежденный класс полуевропейцев»⁴; а в конце В. Ключевский развернул эту формулу межэумочности российской элиты: «Ни идеи, ни практические интересы не привязывают его [русского – М.С.] к родной почве, он вечно старается стать своим между чужими и только становится чужим между своими, он какой-то приемыш Европы. В Европе в нем видят переодетого по европейски татарина, а в глазах своих он – родившийся в России француз»⁵.

Эти слова бросают резкий свет на современную ситуацию. Кризис идентичности, диагностированный российской мыслью еще в позапрошлом столетии, на рубеже XX–XXI веков перерос в «закономер-

¹ Галковский Д. Бесконечный тупик. С. 208.

² Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. Бабель /Babel. С. 9.

³ Бабель И. Сочинения. В 2-х т. М., 1990. Т. 1. С. 393.

⁴ Грибоедов А.С. Полн. собр. соч. Пг., 1917. Т. 3. С. 116.

⁵ Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. М., 1937. С. 214.

ную катастрофу этнической русской идентичности» (М. Колеров)¹. Катастрофа проявляется прежде всего в том, что образованные русские наших дней все более сами осознают себя «чужими среди своих» – и воспринимают это не как трагедию, а как норму. Многие из них готовы даже смириться с участью «полуевропейцев», «приемшей Европью» – лишь бы вполне оторваться от «родной почвы».

Безусловно, в процентном отношении патриофобия – явление далеко не массовое. Опросы показывают, например, что на вопрос: «какое понятие более священо: свобода личности или Родина?» – лишь 25 % российских граждан выбирают «свободу личности», а «Родину» – 62 %; даже по вопросу: «Какое понятие более священо: справедливость или преданность Родине?» – выбор россиян остается за патриотическими ценностями (42% против 39 %; данные на 2003 год)². Итак, большинство соотечественников по-прежнему готовы говорить о своей любви к Родине, но их патриотизм остается по преимуществу пассивным: это дань привычке, выбор по инерции. Вместе с тем растет число социально активных жителей России, стремящихся дистанцироваться от своей страны; все больше их среди молодежи, среди образованной части населения, среди людей со средним и высоким уровнями жизни.

Однако самую опасную тенденцию не так-то просто диагностировать с помощью статистики: она скрывается, по известному булгаковскому выражению, «в головах». Речь о катастрофическом выветривании смысла из всех патриотических формул и мифов и, главное, о сбое исторического сюжета, ощущении беспутья, сознании тупика российской истории. «... Идет тяжелое для России время, откуда <...> не видно дорог»; национальная идея упирается в представление, что «больше идти некуда»³.

¹ Колеров М. Новый режим. С. 31. См. тезисы из манифеста В. Найшуля: «Мы ныне – бессловесное стадо, не имеющее общественного языка. <...> Мы ныне – безнравственная толпа, не имеющая навыков общественного поведения. <...> Мы ныне – бездумное сонмище, не имеющее собственной государственной мысли. <...> Мы ныне – рассеянный народ, не имеющий прочих государственных и общественных институтов (Найшуль В. Мы ныне – рассеянный народ // Русский журнал, 17 ноября 2003 – http://old.russ.ru/ist_sovr/20031117_prog.html).

² См.: Блехер Л., Любарский Г. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья. М.: Академический проект, 2003. С. 125.

³ Блехер Л., Любарский Г. Главный русский спор. С. 222–223.

Идеи пути, развития, целенаправленного движения России во многом перестали работать. На этот слом в сознании указывает М.Л. Гаспаров: «Наш народ идет от надежды к надежде». Кажется, эта формула уже устарела¹. О причинах тупика, смысловой остановки размышляет М.Я. Гефтер: «Время для нас остановилось и суммировалось в вечно вчерашнем дне. Мы видим, что жизнь из него будто выпарилась, и спрашиваем: почему? Потому ли, что мы скверно обращались с историей и та от нас ушла?»² В отказе от исторической надежды следует искать причину того, что отталкивание от отечества становится все более частым явлением.

Негативное отношение к «своему» и предпочтение «чужого» проявляются на самых разных уровнях сознания. Взять хотя бы бытовые стереотипы. Согласно М. Соколову, «оказавшись за границей, русские в массе своей отнюдь не радуются, завидев соотечественника, а, напротив, при звуках родной речи делают вид, что русский язык им решительно незнаком и стараются всячески уклониться от дружеских объятий со случайно встреченным компатриотом»³. Симптоматическое явление: «свой» в ситуации заграничного путешествия оказывается не просто «нежеланным», «лишним», но более того – вдвойне «чужим»; «я не с ними» – таков инстинктивный жест одних «русских путешественников» при виде других.

С 1980-х годов происходит постепенное смещение «речевых жанров»⁴. По наблюдениям американского этнографа Н. Рис, в эпоху перестройки такие бытовые жанры, как «кухонные» литания и lamentации носили драматический и исторический характер – то есть были валентны таким темам, как «кризис» («полная разруха», «полный развал»⁵), «неправильный курс» («Куда мы катимся?»⁶), «неправедная, глупая власть» («Что будет, если коммунисты придут в пустыню Саха-

¹ Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: НЛО, 2000. С. 379.

² Павловский Г. Тренировка по истории. С. 44.

³ Соколов М. Чуден Рейн при тихой погоде. Новые разыскания. М.: SPLS; Русская панорама, 2003. С. 411.

⁴ О «речевых жанрах» см.: Бахтин М.М. Проблема речевых жанров // Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Худ. лит., 1986.

⁵ Рис Н. Русские разговоры: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: НЛО, 2005. С. 98.

⁶ Там же. С. 95.

ру? – Через несколько лет там будет дефицит песка»¹). Но предметом бытовых lamentаций 1990-х годов становится уже не «временное», а «постоянное и безвыходное»; при этом их логика стремится к предельному обобщению. Беды и пороки современной России все больше связываются с непреодолимым национальным роком; в жалобах все меньше веры в преодоление, развитие и разрешение. «Это безнадежно. И будет все хуже и хуже», – говорят собеседники Н. Рис; «Русские всегда были только рабами»; «Дайте нам тысячу лет, и все равно будет то же самое. Это в наших генах. России никогда не стать цивилизованной страной»; «Эта проклятая, дурацкая, е...я, ужасная страна»².

С 1990-х годов из сленгового «быта» в публицистику и литературу смещаются агрессивные языковые штампы. Так, уже не только в речи, но и в печати бытует выражение «эта страна»; оно столь широко распространено, что уже почти стало идиоматическим. «Мы же все в этой [интеллигентской – авт.] среде выросли, – говорит А. Архангельский; – мы же знаем, что это происходило из страха задавать любые вопросы, связанные с национальной идентичностью – со своей, своей культурой, судьбой своего народа. Выражение “эта страна”, которое меня тогда [в начале 1990-х гг. – авт.] уже страшно бесило, было введено именно этой интернациональной русской интеллигенцией»³. Что скрывается за этим выражением? Полуосознанное стремление отстраниться, отделиться от своей страны, снять с себя всякую ответственность за нее («я умываю руки»), оказаться в ситуации *вне-находимости*.

Постепенно эта *идиоматика отстранения* становится все резче и грубее; в ходу уже выражения, взятые из молодежного жаргона. Одно из них – «валить отсюда»; «валить отсюда надо и чем быстрее, тем лучше»⁴; «идея о том, что отседова надо валить»⁵; «валить отсюда надо к чертовой матери»⁶; «если дойдет [до того-то и того-то – авт.]

¹ Там же. С. 144.

² Там же. С. 184.

³ Козеров М. Указ. соч. С. 35.

⁴ <http://www.pravomsk.ru/showthread.php?s=18f9e6f03b88165307a1b7e236118dec&t=7899&goto=nextnewest>; в цитатах из Интернета сохранены орфография и пунктуация источника.

⁵ <http://sharana.livejournal.com/5264.html>

⁶ <http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=42716&mode=thread&pid=384041>

то придется валить из этой страны»¹.

Весьма характерна логика одного из интернетовских «постов», озаглавленного «“Валить отсюда”, или “Ну почему в этой стране все НАСТОЛЬКО через жопу”?!?!»². Автор «блога» в ЖЖ рассказывает о том, как его из рук вон плохо обслужили в частном банке, о том, что до самых дорогих блюд в «телеге» ресторана «Елки-палки» невозможно дотянуться даже при росте 180 см, о платных справках и тому подобном. Однако выводы его вовсе не ограничиваются обличением банковского сервиса или системы коммунальных платежей. Описание потребительских неприятностей обрамляется двумя сильными тезисами. Уже в зачине говорится: «Никому ничего не нужно. Везде бардак. Никто не умеет работать, но у всех получается откуда-то деньги брать. Нет чувства меры ни в чем – ни в любви к президенту, ни в лени, ни в унижении. Все в этой стране эдакие перфекционисты-Обломовы. Порассуждать-поинить ПИВА. И ничего не сделать НОРМАЛЬНО». Завершается же текст следующим утверждением: «Вот он, новый образ РОССИЯНИНА – покорный глупый раб, терпящий безропотно издевательства над собой собственного государства, благодарный руке, кидаящей кость, доверчивый до наивности, ленивый и вороватый, а оттого испытывающий чувство вины и долга, слабый и потому всего боящийся и копящий желчь и злобу. Огребем мы все с такой жизнью. Такие эмоции не исчезают бесследно, будет кровь и много» (курсив мой – М.С.).

Примечательной особенностью этого «поста» является готовность немедленно перескочить от любой мелочи частного наблюдения и личного опыта к глобальным обобщениям: в одном месте неудобно, в другом неприятно – значит, «езде бардак», «все огребем» и «будет много крови». Но важнее другое – стремительный переход от бытового раздражения («меня плохо обслужили») к тотальному отрицанию «этой страны»: «никому ничего не нужно»; «никто не умеет работать»; «нет чувства меры ни в чем»; самого же обличителя российской жизни эти отрицательные гиперболы никак не задевают – он не причем, он всего лишь безвинная жертва (всего один раз употреблено местоимение «мы», да и то в страдательном плане – «огребем мы все...»). Так в отдельном высказывании проявляется механизм мыш-

¹ https://www.pgpru.com/novosti/2008/neogranichenocinekontroliruemoeproslushivaniestanetzakonnymvrossii?how_comments=1

² <http://turizt.livejournal.com/22814.html>

ления значительного числа россиян – механизм отрицания «Рашки»¹ и выгораживания себя.

Бранные штампы можно выстроить в причинно-следственную цепочку: «надо валить отсюда», потому что «Россия – отстой». «Мы множество раз слышали по всем СМИ, что наша страна капится вниз по наклонной плоскости, – так А. Плущер-Сарно рассуждает о словечке “отстой”, – что наша Родина разграблена, разворована, унижена, поругана и т.п. Этот абсолютный телесный низ, в котором общество себя ощущает, и есть пуант всей этой “катастрофы” русских метафор. Постепенно “отстой” из простого русского слова с двумя-тремя значениями превратился в глобальный символ русской жизни вообще, символ, имеющий бесконечную перспективу значений» (пример употребления: «Что поделаешь, если страна у нас полный отстой, вот и получается, что все у нас отстойное...»)².

Тенденция к бранному снижению обобщающих высказываний о России все больше проявляется и в современной российской публицистике. Наибольший резонанс в периодике и Сети вызвали два скандальных выступления. Известный журналист А. Панюшкин отличился сравнением отечества с бешеной собакой: «России пора вразнос. Всем на свете стало бы легче, если бы русская нация прекратилась. Самим русским стало бы легче, если бы завтра не надо было больше складывать собою национальное государство <...> я всерьез думаю, что логика, которой руководствуется сейчас мой народ, сродни логике бешеной собаки. Бешеная собака смертельно больна. Ей осталось жить три, максимум семь дней. Но она об этом не догадывается. Она бежит, сама не зная куда, характерной рваной побегой, исходит ядовитой слюной и набрасывается на всякого встречного. При этом собака очень мучается, и мучения ее окончатся, когда ее пристрелят»³. Впрочем, другой известный человек, поэт И. Кормильцев, едва ли не

¹ Жаргонное обозначение России. См.: «Рашка (“поганая Рашка”) – название России в среде колбасной эмиграции 1990-х годов (а также в среде тех, кто троллит этих колбасных эмигрантов)» (<http://lurkmore.ru/Рашка>). Пример употребления: «Рашка – это не тюрьма. Рашка – это военный лагерь!» (<http://lord-marshal.livejournal.com/61998.html>).

² Плущер-Сарно А. Русский «отстой»: от символа к тексту // НЛО, 2004, № 68 (См.: <http://www.edu-zone.net/show/152824.html>).

³ Панюшкин А. Логика бешеной собаки // Журнал «Ъ» «Gentlemen's Quaterly», февраль 2005 года (цит. по: <http://woody-alex.livejournal.com/269098.html>).

перекрыл панюшкинский рекорд брани в своем новогоднем «посте» (2006): «Господи, какие жы вы все, русские, крутая сволочь – либералы, фашисты, коммунисты, демократы – без разницы! Пороть вас до крови, сжечь вас в печах – и то мало будет – вы миру не даете ПРОСТО ЖИТЬ <...> поэтам – писать, женщинам – вертеть жопой. Вы все – одна большая РУССКАЯ сволочь! Чтобы вам слдохнуть – и никакого вам Нового года»¹.

Чтобы понять оксюморон Панюшкина («логика бешеной собаки»), надо прежде разобраться в странной логике самого журналиста. «Когда я сталкиваюсь с проявлениями русского национализма, – рассуждает он, – я всякий раз удивляюсь его иррациональности. Вот молодые люди, скинхеды какие-нибудь, собираются в стаи и принимают убивать таджиков или африканцев, ну и, предположим, одного таджика или одного африканца им убить удастся. Оставив за скобками чудовищную жестокость этого убийства, давайте спросим у молодых людей с бритыми головами, стало ли русским хоть немного лучше? Не стало. Стало ли молодым людям с бритыми головами хоть немного лучше оттого, что они убили таджика? Тоже не стало, потому что хоть милиция и помогает скинхедам как может, однако же все равно возбуждаются против них уголовные дела и идут против них суды. Вместо убийства иноверца мог бы ведь русский молодой человек создать каких-нибудь материальных ценностей или хотя бы зачать детей, чтоб жизнь его народа стала лучше и вообще продолжился народ. Однако же нет, нет у русского патриота инстинкта продолжения рода и инстинкта самосохранения, а есть инстинкт бессмысленного уничтожения чужих со значительными потерями для себя». Допустим; но следует ли из этого вывод об обреченности целого народа: «Я настаиваю на том, что инстинкт самосохранения у русских каким-то странным образом притушился»; достаточно ли для такого вывода дежурной фразы о СПИДе и туберкулезе скороговоркой? Но мысль Панюшкина, уже не оглядываясь на силлогистику, делает новый скачок – к «кинической» персонификации, призванной закрыть тему России: «бешеная собака»; «пристрелить».

По поводу тирады Кормильцева возникают сложные вопросы: чем вызваны столь громкие проклятия? Не тем ли, что «русские» могут каким-то образом помешать поэтам писать или женщинам – вертеть

¹ Цит. по: <http://www.solnechnogorsk.net/forum/forum98/thread59290-print.html>.

задом? Примеры, аргументация? – отсутствуют. Зато выводы налицо – и вновь в виде сильной персонификации («одна большая РУССКАЯ сволочь») и призывных инфинитивов («пороть до крови», «сжечь в печах»).

Откуда такая «легкость необыкновенная» в обобщениях, такая стремительность выводов? Не является ли папошкинская «логика бешеной собаки» невольным автометаописанием? Во всяком случае ясно одно: логика здесь замещается истерическими жестами отстранения; высокомерное притяжательное местоимение («мой народ»), презрительное третье лицо («русские») и оскорбительное второе («вы все») как раз и подсказывают сначала обобщающие бранные образы («собака», «одна большая сволочь»), а затем метафоры насилия и уничтожения.

По иронии судьбы в приведенных инвективах реализуются именно специфические русские концепты, отмеченные лингвистами. С одной стороны, здесь угадывается идея, выраженная в словах с корнем «рв» (рв), прежде всего – словом «отрыв», в особенном, современном его значении: «идея энергического и спонтанного душевного движения, в результате которого разрушаются (рвутся) узы или пути»¹. С другой стороны, в высказываниях Папошкина и Кормильцева, в соответствии с привычной логикой русского языка, «происходит устранение действующего и ответственного за свои действия лица там, где оно реально есть» (то есть само-отстранение), и при этом «некой квазиактивностью, квазиответственностью наделяются вещи и обстоятельства»² – в данном случае, сама «русскость», персонифицированная в образе «бешеной собаки» или «одной большой сволочи».

Проекция отрицательных автостереотипов России и карнавальность современной литературы

Процессы, происходящие в современной отечественной литературе, безусловно, связаны с «бытовыми» западническими автостереотипами, хотя ни в коем случае не сводятся к ним. Во всяком случае, на рубеже XX–XXI веков писатели и их публика нередко объединены общей «конвенцией» – обоюдным стремлением обрести *позицию вне-*

¹ Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. С. 248.

² Там же. С. 154–155.

находимости. Конечно, писатели-«апатриды» составляют лишь малую часть российского литературного сообщества, но это влиятельное меньшинство. Самые известные писатели 1990-х, признанные на Западе, издававшиеся и издающиеся большими тиражами на родине, порой записанные в живые классики, – отдали в эти годы дань патриофобии.

Так, когда Д. Пригов говорит о постмодернистском состоянии культуры: «Постмодернизм в большой культуре характеризуется нарастанием огромного количества идентификаций, ослаблением и окончательной “корруптированностью” сильных идентификаций», – он прежде всего отказывается от национального самосознания: «...Раньше большие человеческие конгломераты собирались под национальной, государственной, религиозной или идеологической идентификацией. Сейчас <...> существует огромное количество идентификаций, неведомых раньше. <...> В культуре обнаруживается чудовищное количество одновременно существующих и не преваляющих друг над другом культур <...> Сейчас доминант в культуре нет»¹.

Итак, все дозволено – любая идентификация, кроме «сильной» – национальной, государственной. На вопрос о «позитивном» идеале Пригов отвечает: «Я проповедник privacy, суверенности личности, равенства возможностей проявления бытового и идеологического...»; это «партикуляризм внеаходимости»². Пригов берет на себя роль «эксперта», «работника ОТК», оснащенного «новым типом технологии сознания» и разоблачающего «сильные идентификации», а прежде всего связанные с ними «тоталитарные амбиции». Получается, что задача писателя и критика – не только самому отталкиваться от национальной идентификации, но и строго следить, чтобы к ней не притягивались другие. Средство отпугивания – пастиш, пародические игры, деконструирующая техника.

Мнение литератора и художника-акциониста – изнутри литературного процесса – можно дополнить анализом извне, сделанным ученым-филологом. Вот что ответил М.Л. Гаспаров на вопрос о современном национальном самосознании: «Самосознание, что это такое? Гегелевское значение, где самосознание было равнозначно реальному существованию, видимо, уже забыто. Остается самосозна-

¹ Пригов Д., Шаповал С. Портретная галерея Д.А.П. М.: Новое литературное обозрение, 2003. С.88.

² Там же. С. 104.

ние как осознание своей отличности от кого-то другого. В каких масштабах? Каждый человек, самый невежественный, не спутает себя со своим соседом. В каждом хватает самосознания, чтобы дать отчет о принадлежности к такой-то семье, профессии, селу, волости. <...> Наконец, при достаточной широте кругозора, — о принадлежности ко всему обществу, в котором он живет. Можно говорить о национальном самосознании, христианском самосознании, общечеловеческом самосознании. Складывание интеллигенции совпало со складыванием национальностей и национализмов, поэтому “интеллигенция — носитель национального самосознания” мы слышим часто, а “носитель христианского самосознания” (отменяющего нации) — почти никогда. *А в нынешнем мире, расколотом и экологически опасном, давно уже стало главным “общечеловеческое”*» (курсив мой — М.С.)¹.

В другом месте Гаспаров добавляет: «Когда двое считают, что любят друг друга, они не только смотрят друг на друга, они еще следят, чтобы партнер не смотрел ни на кого другого (а если смотрел бы, то только с мыслью “а моя (мой) все-таки лучше”). Семья, дружеский круг, дворовая компания, рабочий коллектив, жители одной деревни, люди одних занятий или одного достатка, носители одного языка, верующие одной веры, граждане одного государства — разве не одинаково работает этот психологический механизм? *Всюду смысл один: “Самые лучшие это мы”*. Еще Владимир Соловьев (и, наверное, не он первый) определил патриотизм как национальный эгоизм» (курсив мой — М.С.)².

Суждения литературного бойца-разрушителя (Пригова) и ученого, претендующего на объективность (Гаспарова), звучат по-разному, но сводятся к одному. Речь идет о том, что *двухвековой «русский разговор» для многих российских интеллектуалов окончен, а русская идея сведена к нулю*. Какой вывод делают из этого писатели постмодернистского толка? Что пришло время *другого разговора* — «глумления над собеседником и самим собой», «издевательства над читателем»³. «Загадки русской души» больше нет, проблема национального самосознания неактуальна — остается провоцировать («Надо в доме повешенного заговорить о веревке»⁴) и мародерствовать — растаскивать

¹ Гаспаров М.Л. Записки и выписки. С. 94.

² Там же. С. 96.

³ Формулы Д. Галковского (Галковский Д. Бесконечный тупик. С. 135).

⁴ Там же. С. 135.

русскую тему на материал для литературных эффектов и игры с читателем.

Вспомним известные слова Розанова, утрирующего «логику самоненависти»¹ западников XIX века: «Россия не содержит в себе никакого здорового и ценного зерна. России собственно — НЕТ, она — только КАЖЕТСЯ. Это — ужасный фантом, ужасный кошмар, который давит душу всех просвещенных людей. От этого кошмара мы бежим за границу, эмигрируем; и если соглашаемся оставить себя в России, то ради того, единственно, что находимся в полной уверенности, что скоро этого фантома не будет; и его рассеем мы, и для этого рассеяния остаемся на этом проклятом месте Восточной Европы»². Но вот — «фантом» как бы рассеялся; что же теперь остается? Играть на остатках национального чувства, выжимать из них хоть какие-то литературные дивиденды. Русский постмодернизм — это отечественная литература после конца «русского разговора».

Современное отрицание отечества лишено прежней дублированности: это уже не ненависть-любовь, как в XIX веке; оно лишено и цели: в негативных формулах больше не намечается никаких проектов сотворения, пересоздания и переделки отечества в духе 1910–1920-х годов. Что же тогда остается на другой чаше весов, что же утверждается за счет отрицания? Только стремящиеся к венаходимости «я» — писательское и читательское.

В освобождении современной литературы от национальной почвы есть нечто праздничное, карнавальное, если только возможен парадокс индивидуалистического карнавала. По словам У. Эко, «одна из новых характеристик общества, в котором мы живем, — стопроцентная карнавализация жизни»³; вот и «освобожденная» литература целиком и полностью поглощена карнавальным началом.

Традиционный карнавал характеризуется единством отрицания-утверждения, брани-хвалы⁴. В карнавальном действе проявляются не только положительные интенции, эмоции-«за» (порождаемое, воз-

¹ Выражение Е. Холмогорова (Холмогоров Е. Русский националист. М.: Европа, 2006. С. 274).

² Цит. по: Галковский Д. Бесконечный тупик. С. 182.

³ Эко У. Полный наезд! «Горячие войны» и популизм в СМИ. М.: Эксмо, 2007. С. 142.

⁴ См.: Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худ. лит., 1990. С. 183–184.

рождаемое, хвалимое), но и ниспровергающие, изгоняющие, хулящие силы, эмоции-«против» (например, адресатом «ругательства и побоев» средневекового карнавала может быть «мрачная старая правда»¹). *Российский литературный карнавал 1990-х годов объектом насмешек и брани избирает «русскую идею»* (формула А. Синявского «Россия – мать, Россия – сука»², лишенная горького подтекста и захваченная смеховым началом); *за счет поругания-высмеивания общего, родного, национального утверждается писательское и читательское «я».*

Карнавалу свойственно опрокидывание человека к «телесному низу» – например, «забрасывание калом»³. Вот и в российской пост-модернистской литературе «катастрофа русской идентичности» оборачивается торжеством «телесного низа». Негативные образы России не просто проецируются в литературу 1990 – 2000-х годов – они при этом предельно радикализируются. Взять хотя бы известную формулу, приписываемую Д. Дидро: «Русские сгнили, не успев созреть», – которую русские критики отечества охотно цитировали в XIX веке⁴. В общественном сознании она превратилось в грубое: «Россия – отстой», в литературе же наших дней – и того хуже – в обесцененное: «Россия – дерьмо».

Обратимся для примера к антологии «Пятиконечная звезда», в которой собраны под одной обложкой пять писателей, названные в предисловии «крокодилами», «самыми-самыми», – В. Сорокин, В. Пелевин, В. Ерофеев, Т. Толстая, Б. Акунин. Центральная идея книги выражена в рассказе Пелевина «Девятый сон Веры Павловны», где героиня вдруг осознает, что дело не в «смысле существования», а в «его тайне». Вот и в «Пятиконечной звезде» – *смысла нет, а тайна есть.*

В поисках таинственного авторы книги забираются в самые неожиданные уголки: в причинные места («...Засунь ей в колготки руку – у нее там космос, там Байконур со всем большим хозяйством...» – Ерофеев «Три свидания»⁵). В средоточие гниющей плоти: «Ему открыто знание, что в мыльный жировоск может превратиться как часть

¹ Там же. С. 190.

² Синявский А. Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003. С. 268.

³ Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле... С. 163.

⁴ Кюстин А. де. Указ. соч. Т. 1. С. 154-155; Мильчина В., Основат А. Комментарии / Кюстин А. де. Указ. соч. Т. 1. С. 459.

⁵ Пятиконечная звезда. М.: Эксмо, 2003. С. 289.

Татьяны, так и вся Татьяна...» – Ерофеев «Все будет хорошо»¹). Глубже, в чрево русской классики – через рот, вагину и анус Наташи Ростовой (В. Сорокин «Concrete»²).

Но чем больше читаешь сборник, тем яснее: вслед за его авторами, «ужасную» тайну надо искать по запаху. «Страшный и притягательный» запах, «не похожий ни на какой другой», «нежный зной-вест тонкого кишечника, суровый, не любящий шутить прямокишечный норд-ост» (Сорокин «Дорожное происшествие»³); «какашки любимой» (Ерофеев «Унитаз 007»⁴). Ключ спрятан где-то в зловонной ЯМЕ или в недрах платного туалета. Так, та же Вера Павловна, ищущая «стайну существования» в рассказе Пелевина, сначала открывает, что все люди более или менее вымазаны дерьмом, а затем вызывает всемирный дерьмовый потоп. Разгадка не дана прямо, но угадывается в намеках: «Россия – дерьмо».

Итог новой «русской метафоре» подводит В. Ерофеев в своей ернической «Энциклопедии русской души» (1999)⁵. Автор-«энциклопедист» развлекается в своей книге тем, что, как расхулиганный школьник, подставляет слово «дерьмо» на место каждого русского «икса» и «игрека».

«Путь к храму»? – Значит, к сортиру; стоит только произвольно соединить «далековатые идеи»: «Общественные сортиры в России – это больше, чем тракт по отечественной истории [народная калька с известной формулы «поэт в России больше, чем поэт» – авт.]. Это соборы. С куполами не вверх, а вниз. Их бы показывать туристам, как Грановитую палату, с приличествующим самоуважением». «Загадка России»? Персонажи ерофеевской книги отправляются разгадывать ее на фекальную станцию, вооружившись соответствующими сентенциями: «Не я страну придумал. Я что, виноват, если Россия завязана на говне?». «Национальная идея»? – Грязь («Все-таки самое главное русское слово – грязь. В России все грязное: машины, помыслы, девушки, цветы, поля, весна»); дерьмо («Говна не будет – Россия кончится»). «Русское сознание»? – «Авгиевы конюшни». «Русский дух»? – Известно какой: «Свой пердит. Свой насрет. Свой, наконец, убьет».

¹ Там же. С. 252.

² Там же. С. 66.

³ Там же. С. 240.

⁴ Ерофеев В.В. Энциклопедия русской души. – М.: Подкова; Деком+, 1999. Цит. по: http://lib.ru/EROFEEV_WI/encyclopedia.txt

Проблема «Россия и Запад»? – Неразрешима, пока русские спрашивают нужду в неполюженном месте (тут к слову приходится аллюзия на булгаковское «Собажье сердце»): «Не справившись с миром, он [русский – авт.] гадит в мире. Он антиэкологичен. Мир превращается в помойку и если бы не власть, русский бы уже давно утонул в отходах». «Русский надрыв», наконец? – и здесь не обходится без дерьма: «Россия меня загрызла вконец. Боже, как надоела! Она срет по ногам. Она срет. Мы срем»; так истерическое бормотание принимает форму «русской грамматики» (лица глаголов) – только чтобы лишний раз подчеркнуть тотальность «отечественного» дерьма.

Глумление как элементарное самоутверждение: тема России и писательское «Я» в российской постмодернистской литературе

Итак, в согласии со своим читателем, современный писатель-постмодернист отрицает утопическую положительную программу, вдохновлявшую интернационалистов и западников в первые после-революционные годы: разрушение «до основания» для него – свершившийся факт, а «затем...» – отсутствует. Какова же его собственная положительная программа? Ради чего он стремится обрести позицию внеаходимости? Для обретения свободы. А зачем нужна свобода? Для максимального самоутверждения.

Можно выделить два основных типа писательского самоутверждения – элементарное (цель – обратить на себя читательское внимание) и манипулятивное (цель – завоевать власть над читателем).

Красноречивые примеры первого типа дают две книги – «Книга воды» Э. Лимонова¹ и «Пять рек жизни» В. Ерофеева². После их прочтения возникают три вопроса.

Ответ на первый вопрос будет совсем коротким и простым:

Зачем Лимонов и Ерофеев рассказывают о разных реках и водоемах мира? Чтобы развернуть тему собственного «я» в мировом масштабе.

Ответ на второй вопрос будет несколько более распространенным:

Зачем Лимонов и Ерофеев рассказывают нам о российских реках и водоемах? Чтобы оттенить положительный образ собственного «я» отрицательными образами России, самоутвердиться за счет иронического или прямо издевательского отстранения от «этой страны».

¹ Лимонов Э. Книга воды. М.: Ad Marginem, 2002.

² Ерофеев В. Пять рек жизни. Роман-река. М.: Подкова, 1998.

Для этого новейшие российские писатели вольно или невольно воспроизводят тот «сатирический тип репрезентации» России, который кристаллизовался в знаменитой книге маркиза А. де Кюстина. Как было уже не раз замечено, в своих заметках Кюстин преследует две цели; главной целью является последовательное развенчание России, побочной – достижение литературного эффекта и демонстрация своего салонного остроумия. Сам автор «России в 1839 году» кокетливо предупреждает читателя: «Прошу прощения, я родился в эпоху пышных фраз»; он не скрывает, что развертывание негативной концепции России нередко является поводом для литературного щегольства – парада эффектных дефиниций, парадоксов и антитез. В российской постмодернистской литературе прежняя побочная тема смещается в «центр», – потеснив основную: отрицание России теряет всякое идейное значение и сводится только к литературному приему.

Чтобы сделать аналогию с современными авторами более наглядной, возьмем из кюстинской книги мотив воды. Сначала Кюстин приводит наблюдение: петербургские острова – это «преlestное болото; никогда еще никому не удавалось так удачно скрыть тину цветами»¹; затем – обобщает: «гигантское болото, именуемое Россией»; а попутно, соперничая с Шамфором и Риваролем, выстреливает эффектными афоризмами: здесь, среди прочего (расстояний, лесов и зим) «болота заменяют тем, кто отдает приказания, совесть, а тем, кто эти приказания исполняет, – терпение»².

У современных русских писателей «квазизапада» (воспользуемся претенциозным окказионализмом М. Эпштейна³), хоть они и держатся того же направления, что и Кюстин, приоритеты меняются местами. Отныне развенчание России – это только мотивировка, настоящая же цель – демонстрация себя. Насчет того же Эпштейна еще давно было замечено (Лидией Гинзбург), что выводы и идеи его эссе не имеют «никакого отношения к экзистенциальному опыту» читателя, что они только бьют на эффект и сводятся к трюку: «Эпштейн хотел непременно сказать то, что никто не говорит»⁴. И действительно, если обратиться, например,

¹ Кюстин А. де. Россия в 1839 году. Т. 1. С. 142.

² Там же. Т. 2. С. 36, 14.

³ Эпштейн М. Амероссия. Избранная эссеистика. М.: Серебряные нити, 2007. С. 211.

⁴ Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПб, 2002. С. 343.

к его «водным» концепциям, то легко убедиться: они всякий раз сводятся к «пышной фразе», к самолюбованию приема. Вот Эпштейн рассуждает о Волге и Поволжье. Для чего? Чтобы остранить старую мысль громкими метафорами: «Особенно на Волге, в степной полосе, ощутим тот отчаянный простор, который волнами накатывался на лесную, срединную и северную Русь, — простор, рождавший Разиных, Пугачевых, Чернышевских, Лениных, всех этих выходцев из Саратова, Астрахани, Симбирска, всю эту катящуюся, бесами гонимую, рать, которую преследовало Пустое и перед которым Порожнее разверзлось»¹.

Другой пассаж — по сути, опять-таки о «гигантском болоте, именуемом Россией», — еще более метафорически перегружен: «...любовное соединение, <...> нежно — девичье, — земли и воды, которые льнут друг к другу извивами и вскриками размятченного вещества, неизбежной и вездесущей грязи. <...> Может, это и есть российский способ освоения пространства? — побольше в нем нарылать, надыхать, надымить, натоптать, чтобы поселить в пустой равнодушной бескрайности что-то родное себе. Влажно хлоплюющее, горячо дышащее. Завернуться в пространство, как в материнскую утробу, где и газы, и воды, и пузыри, — сплошное бурление и бурчанье рождающей трясинь»². В «бурлении и бурчании» словесных ассоциаций материал высказывания — а именно концепт «Россия» — становится все более податливым, постепенно теряет всякое сопротивление: теперь «Россию» можно дофилософствовать до чего угодно, до того, «что никто не говорит». А цель — показать свою эссенцистическую власть, показать себя; сказанное относится, конечно, не только к Эпштейну, но и ко многим другим современным литераторам, среди которых — и Лимонов с Ерофеевым.

Наконец, надо ответить на третий — самый важный — вопрос: о чем свидетельствуют рассказы этих двух знатоков России об отечественных реках и водоемах? По замечанию М. Гаспарова, «психоанализ Пушкина — дело сомнительное, но психоанализ пушкиноведения — вполне реальное»³. То же можно сказать и о глумящихся над Россией писателях: в то время как Лимонов и Ерофеев берутся диагностировать российские болезни, их сочинения дают богатый материал для диагностирования их самих.

¹ Эпштейн М. Амероссия. С. 89.

² Там же. С. 122-123.

³ Гаспаров М. Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 258.

В поисках общего диагноза стоит обратиться к работам П.Б. Ганнушкина. Тип «истерика», описанный в его труде «Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях», в полной мере совпадает со стратегической линией современного писателя-«псевдополита»¹. «Главными особенностями психики истеричных, — пишет Ганнушкин, — являются: 1) стремление во что бы то ни стало обратить на себя внимание окружающих и 2) отсутствие объективной правды как по отношению к другим, так и к самому себе (искажение реальных соотношений). Ясперс, объединяя оба эти признака, дает очень короткое и меткое определение той основы, из которой вырастает поведение и характер истеричных, — «стремление казаться больше, чем это на самом деле есть». Исходя из этого определения, Шнейдер предложил заменить самое название «истеричные» термином *Geltungsbedürftige* — «требующие признания». Во внешнем облике большинства представителей группы, объединяемой этими свойствами, особенно обращают на себя внимание худощавость, театральность и лживость. Им необходимо, чтобы о них говорили, и для достижения этого они не брезгают никакими средствами»².

Что касается частного диагноза Лимонова, то он очевиден — *нарциссизм*: русские реки и пруды нужны ему, как по мифу, чтобы в них глядеться. Вспоминая себя мальчиком, купающимся в харьковском пруду, Лимонов непроизвольно рифмует эпитеты: он сам — похорошему «странный», а прочий народ у того пруда — конечно же, «сранный». «Пользуясь случаем, я кричу этому сраному народу: кто вы, е... вашу мать! Кто? — так Лимонов развивает исходную антитезу. — Не важны вы все, как мальки в той воде, стекли вы в канализацию жизни. Важен только странный мальчик в плавках, смотрящий на вас. И чтобы он вас заметил, подняв свой взгляд от мальков, тритонов и головоастиков. А не заметил — ну и нет вас» («Книга Воды»). Впрочем, заметив «сранный народ», «исторический человек» все равно иррекаст, не ссылаясь на Сартра: «Простые люди — это Ад» («В плену у мертвецов»³) — так что лучше бы и не замечал.

¹ Неологизм Д. Галковского: «Он и на своей родине чужой» (*Галковский Д. Бесконечный тушик*. С. 138).

² Ганнушкин П.Б. Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях // <http://www.psychology.ru/library/00015.shtml>

³ Лимонов Э. В плену у мертвецов. М.: Ультра Культура, 2002.

Русские реки представляются Лимонову метафорой чего-то косного, бессмысленного: «...Волга колыхала большим широким телом водяной рыхлой тетке и билась о земное илистое свое ложе. Волга билась по всей России. Тетка Волга лежала в тетке России, тетка на тетке» («Книга воды»). «Тетка на тетке» – Россия здесь сведена чуть ли не к тавтологии небытия; это слепая стихия, ждущая своего культурного героя – а именно Лимонова. Например, Москва-река – это всего лишь «напичканная дерьмом и пронизанная взаимопроникающими струями горячей канализации» вода, «кладбище мертвой воды посередине города, разлегшееся в неопрятных серых берегах»; она имеет смысл только потому, что Лимонов, «беспорный, отлитый в бронзе», вел по мосту над ней колонны митингующих. «Я пронзительно знал, – признается он, – что все развалится, <...> но будет другое, что я все соберу. Соберу опять, так я должен собирать, строить, из Хаоса строить Космос» («Книга воды»).

Лимонова по праву можно назвать первооткрывателем «я-эпохи»¹. Как известно, подлинную славу ему принес уже его первый роман – «Это я, Эдичка». Почти вся идея книги высказана на ее обложке – «Это я, Эдичка». «Я», выкрикнутое в названии, прокатывается эхом по всей книге – от начальных абзацев (шесть «я» в двух предложениях²) до финального пассажа (шесть «я» в четырех предложениях³). Меню, предложенное читателю в начале книги, не разнобразнее всегдашних эдичкиных шей⁴: «снизу полуголый я», «глазеют на меня», «я не стесняюсь», «мне плевать», «моя фотография», «я подонок» (2 раза), «я поэт», «я вас презираю». В конце книги, пройдя по кругу, читатель остается с тем же: «мои врезающиеся в попку брюки», «я странная

¹ «Книга воды»: «70-е годы вошли в историю под именем “я-эпохи”, то есть крайнего развития индивидуализма».

² «Я думаю, вам уже ясно, что я за тип, хотя я и забыл представиться. Я начал трепаться, но не объявил вам, кто я такой, я забыл, заговорился, обрадовался возможности наконец обрушить на вас свой голос, а кому он принадлежит – не объявил» (Цит. по изданию: Лимонов Э. Это я, Эдичка. М.: Независимый альманах «Конец века», 1992).

³ «– Я е... вас всех, е... в рот суки! – говорю я и вытираю слезы кулаком. Может быть, я адресую эти слова биддингам вокруг. Я не знаю.
– Я е... вас всех, е... в рот суки! Идите вы все на х...! – шепчу я».

⁴ «Щи с кислой капустой – моя обычная пицца, я ем их кастрюлю за кастрюлей, изо дня в день, и, кроме шей, почти ничего не ем».

птица», «я подонок», «я царь, который готов на все», «я е... вас всех».

Лимонов нутром почувствовал заказ «я-эпохи»: надо сначала сделать какой-то небывалый, невиданный жест, а затем этот жест разрекламировать и запатентовать. Для привлечения внимания потребителя необходимо вызвать у него устойчивую ассоциацию имени и сенсационного факта: «А, это тот самый, который...» Тут требуется споровка особого рода, ловкость игрока на литературной бирже – чтобы что-то прозвучало *впервые и вовремя*.

Лимонов понимал, что главное в погоне за славой – успеть: «...Автору “Эдички” суждено было первому, – пишет он о себе в третьем лице, – разрушить сразу целый набор табу, до тех пор соблюдавшихся благоговейно <...> литературой и наукой <...> Ему удалось создать культовую книгу, посчастливилось стать the absolute beginner, кем-то вроде Элвиса, если перевести этот подвиг на шкалу ценностей поп-музыки»¹. Он своевременно почувствовал, что привычка следовать священным традициям русской литературы еще велика (значит, есть что разрушать), а вера в них – все слабее и слабее (значит, есть для кого разрушать). И решил: пора!

Его догадку можно обозначить словами Раскольниковца, «уникального героя»²: «...Кто <...> посмеет, тот <...> и прав. Кто на большее может плынуть, тот <...> и законодатель <...> Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это и единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-напросто все за хвост и стряхнуть к черту!» Действительно, перевернуть все ценности, «стряхнуть к черту» все табу русской литературы, сделать ей назло – чем хуже, тем лучше, – вот и рецепт культовой книги. В следовании этому рецепту Лимонов очень старателен: он раздражается матерной бранью без всякого повода, только для скандальной галочки, через страницу делает неприличные заявления, педантично перебирает разные виды экстравагантного сексуального опыта и стыдных поступков.

В процессе составления этого каталога Эдичка и выводит свое самое эффективное «ноу-хау». Гениальное просто. Достаточно сказать:

¹ Лимонов Э. The absolute beginner, или Правдивая история сочинения «Это я – Эдичка» // Лимонов Э. Это я, Эдичка. С. 329.

² Лимонов Э. Другая Россия. Очертания будущего. М.: У-Фактория, 2003. С. 89.

«Меня, русского поэта Эдуарда Лимонова, трахнул негр» – и рекорд эпатажной откровенности установлен. Все сделано автором, чтобы его имя стало автоматическим сигналом: «А, тот самый Лимонов, которого впервые в русской литературе трахнул негр». Чтобы не показалось мало, Эдичка повторяет «негра» на бис (первая кульминация – с Крисом в 4 главе, вторая – с Джонни в 8 главе) и закрепляет свое литературное открытие на обложке французского издания – «Русский поэт предпочитает больших негров».

Оставалось только затем использовать эту зарегистрированную «отрицательную» репутацию для следующего прорыва – в политику и СМИ. Так цель была достигнута: Эдичка превратился в писателя, который должен быть прочитан, писателя из джентльменского списка; как не прочесть того самого – скандалиста, фашиста, а теперь еще и бывшего ээка? Главное – вовремя «припрячь» негра.

Итак, Лимонов еще в 1970-х годах показал пример ловкого использования русского фона для эпатажного самоутверждения. Как ни стараются его последователи побить рекорд учителя, им это никак не удается. Вот поэт-эмигрант Я. Могутич утверждает свою «блистательную» отверженность-внеаходимость:

Не представляю себя своими родителями потому что
их жизнь для меня непостижима это какое-то
другое измерение параллельная реальность в
которой я бы загнулся погиб хотя бы потому что
они никогда в жизни не были в париж и не ели суши
.....
представляю себя хуйвейбином русской культурной
революции сжигающим всю макулатуру из
библиотек и подгоняющим дубинкой а еще лучше
автоматом группу особо отличившихся кумиров
нашей гнилой интеллигенции по-прежнему мнящей себя
мозгом наши /расстрельные списки все еще уточняются/
.....
не представляю себя никем иным
никем чужим
чужим собой
болтающимся как безродное космополитическое
говно между враждебными государствами и
племенами...¹

¹ Цит. по книге: Могутич Я. Термоядерный мускул. Испражнения для языка: Избранные тексты. М.: НЛЮ, 2001.

Вот его превозносят восхищенные поклонники из числа западных славистов: «Могучий Могутич взял на себя дерзость изнасиловать, четвертовать, фистфакировать благородный русский язык, чтобы из него выжать запретные соки, чтобы пьянить, дурманить себя и других нецензурными словами, которые целый народ испокон веков вынашивает и лелеет и произносит в полный голос и со смаком...»¹ Но все же, как ни задается он новыми «проклятыми вопросами», неизбежными в ситуации внеаходимости:

ну как бы еще излечиться?

ну как бы как бы как бы? –

уже поздно. «Истерика» (или «требование признания») напрасна: Могутич пришел к столу, «когда обед съеден»² – Лимоновым. Ниша главного героя «я-эпохи» оказалась занята. Остальным же нарциссическим героям нашего времени приходится прятать свою главную и единственную «я-тему» в подтекст, прикрываться иронией и игрой.

Пряча одни симптомы, писатели «квазизапада» проявляют другие. Старательная постмодернистская игра В. Ерофеева в «Пяти реках жизни» наводит нас на еще один психологический термин – «патологическое остроумие». В соответствующей литературе приводятся примеры такого рода остроумия: «Эмоциональная сфера? А может быть, эмоциональный цилиндр?»; «Чтобы создать живую природу, надо сперва жениться»³. Симптомами этого «расстройства» является также большая концентрация острот, следующих непрерывным потоком, и, соответственно, отсутствие у пациента критического отношения к собственным шуткам. Формула, взятая из психологии, может послужить метафорическим кодом ко многим новейшим сочинениям – и прежде всего к ерофеевским «Пяти рекам жизни».

Начиная с названия главы о Волге: «Исторический оргазм на Волге в Сталинграде» – иронические, игровые сентенции и дефиниции следуют в сочинении Ерофеева одна за другой, не давая читателю даже минутной передышки: «Волга – бетон русского мифа. Не река, а автострада слез»; «Вдоль нее стоят призраки бородатых русских писателей с изжогой сострадания к народному горю, причина которого –

¹ Маркадз Ж.-К. Die prachtvolle Animalicat: Оргийное исступление поэзии Ярослава Могутича // Могутич Я. Термоядерный мускул.

² Слово Ю. Тынянова об учениках (*Гинсбург Л.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. С. 33).

³ См.: <http://vesvalo.narod.ru/LookAN/LookAN.f/11.html>

русский самосодомизм – зарыта где-то поблизости в грязный песок»; «русское царство поллитра»; «икона – это русский телевизор»; «декоративная решетка – это герб моей целомудренной родины»; «редкий русский идет в сауну с чистыми помыслами»; «китаец, француз, еврей, даже негр – существительные, а русский – прилагательное и при этом «ни к чему не прилагается, как его ни прилагай. <...> Доказательство от противного, апофатическая тварь».

В главе «Кострома – Нижний Новгород» поклонник говорит писателю: «Ваши книги похожи на раскаленный паяльник, который вы засовываете читателю в жопу»; рассказчик отвечает ему «ласковым» смехом. Очевидно, предполагается что и читатель будет ласково смеяться – не *над*, а *вместе* с писателем; что самолюбование под маской самоиронии («Ты, оказывается, не человек, а общественная институция»; «он и есть чудо» – так говорят писателю и о нем другие персонажи книги) вызовет сочувственную читательскую улыбку; и что хохот автора («Мы особенно смеялись на Мамаевом кургане, где мне захотелось поджарить немку на вечном огне») откликнется читательским эхом. Подобная авторская интенция как раз и есть симптом – автор не способен просчитать реакцию читателя. Последний скорее всего воспримет экспансию авторского тотального остроумия как насилие над собой, а цитатная игра вскоре уже останется за пределами читательского восприятия:

« – Если капитана нет, все позволено, – плоско пошутил я. Капитан рассмеялся.

– Если капитана нет, то какой же я Бог? – хитро сказал он, демонстрируя зеркальное знание русской классики».

Если от «Пяти рек жизни» перейти к другой ерофеевской книге – «Энциклопедия русской души», то может пригодиться еще один психологический термин, использованный в переносном смысле, – «мифомания»¹. Конечно, автора «Энциклопедии...» никак нельзя назвать мифоманом в точном медицинском значении этого слова; но потребность к построению издевательски нелепых, заведомо, нарочито ложных концепций в чем-то сродни бессознательному патологическому вранью.

Этот диагноз можно поставить не одному только Ерофееву, но, по-

¹ Термин, предложенный французским психиатром Э. Дюпре (1905), означающий «болезненную склонность искажать действительность, лгать, рассказывать выдуманные истории» (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/psihologic/1075>).

жалуй, целому жанру современной литературы – эссе. Вот, например, П. Вайль в книге с ироническим заглавием «Карта родины»¹ начинает разворачивать свою концепцию частной жизни в русской классике. И что же? Сама лихая стремительность обобщений – по одному на строку и все с претензией на оригинальность – невольно вызывает в памяти хлестаковскую скороговорку: «Вот если умерить амбиции и снизить тон, то можно прочесть в русской классике повесть о частной жизни, автономной личности, чей путь – не от пропасти к вершине, а от печки к перине. Можно вспомнить, что Пушкин воспел щей горшок и даже отдал за это жизнь; что быт Простаковых пережил идею Стародума; что консерватор Кирсанов одолел революционера Базарова; что Лермонтов, даже на дорогу выходящий один, воспел гумно и резные ставни; что к идеалу Пульхерии Ивановны только в эпилоге приблизилась Наташа Ростова; что Штольцу не встать вровень с некогда не встающим с дивана Обломовым; что у бездомного персонажа Достоевского – живущего ради смерти Кириллова – круглые сутки кипел <...> родственник пушкинского горшка, самовар»².

Зачем Вайлю перебивать путевые заметки пассажами, пытающимися вмести в одну историю русской литературы в одно предложение; зачем громоздить сомнительные концепции, как Оссу на Пелеон? Напрашивается диагноз: увы, здесь налицо рецидив эссенцистической мифомании; одна догадка зацепилась за другую – и началась демонстрация эссенцистического «я» на фоне «вечных вопросов»³.

Та же болезнь заставляет новейших романистов сочинять абсурдные сюжеты, дважды иронические и трижды пародийные; в одном из таких сюжетов⁴ возникает, например, американский мультимиллионер-руссофоб, который каждый день сжигает по одному роману русского классика («Русские свиньи уверены, что если в судный день Бог захочет засудить в манду все человечество, то достаточно будет предъявить Ему “Преступление и наказание” и Он всех простит»); прокликает русскую веру («Факаны богоносны!») и алфавит («Сколь мерзки русские буквы!»), а кроме того держит в под-

¹ Вайль П. Карта родины. М.: Калибри, 2007.

² Вайль П. Карта родины. С. 114–115.

³ См. об этой книге: Глостанова М.В. Постсоветская литература и эстетика транскulturации. Жить никогда, писать нигде. М.: Едиториал УРСС, 2004. С. 360–373.

⁴ Курицын В. Матадор на Луне. Проза. М.: Ракета, 2006.

вальных клетках россиян, потерявших человеческий облик. Монотонное мелькание бредовых сюжетных ситуаций, доведение до абсурда романной условности – все это характерные симптомы литературной «мифомании».

Но вернемся к В. Ерофееву. Текст «Энциклопедии русской души» воспринимает как конвейер, специально запрограммированный на производство бракованной продукции. Эта ерофеевская машина с невероятной скоростью порождает дефектные сентенции, формулы и концепции. Одно обобщение следует за другим: «Отличительной чертой русского является его способность делать гадости. Вообще – гадить. У русского кругом все виноваты. Он человек хмурной»; «Иван-дурак и Обломов – бродяги. Не говоря уже об Остапе Бендере. Советский туризм с гитарой – тоже бродяжничество. Нигде нет покоя»; «Коммуналка как свет непогасшей луны – норма русской ментальности. Она же – модель взыскуемой соборности. Засранные подъезды и подворотни, непрочищенные, засоренные, как мусоропроводы, пещерные люди метафизичны. Их разрозненная посуда, гнутые ложки-вилки подотчетны лишь божественному суду»; «Христианство превращается в фольклорный ансамбль под управлением Петра и Павла»; «...вначале было Слово, на Руси – визг».

Но мифомания «колдуна Ерофея»¹, конечно, далека от наивности. Стратегия автора «Энциклопедии...» – «мерцание иного, его постоянное ускользание от определений»². Он понимает: «Россию заговорили до дыр»; «О России и так слишком много написано» – и закрывается от старого «русского разговора» тотальной иронией. «Меня удивляет, – пишет он, – когда кто-то с энтузиазмом говорит о том о сем. Мне это кажется неприличным». «С энтузиазмом» говорить о России нельзя, а если ернически и глумливо – то можно сказать все что угодно: «Как хорошо послать мою родину на х...!»; «...искоренение нации Сталиным было делом правым: всех бродяг в ГУЛАГ».

Ерофеев играет двойственностью – шутовски поворачиваясь к европейцам своей «русскостью»: «Я люблю русских. Я очень люблю русских. Прямо как Есенин»; а к русским своей неуволимостью и вне-находимостью: «Я учился смотреть на Россию как на иностранное

¹ Так называет его Е. Попов в комментариях к роману «Накануне накануне» (см.: Ремизова М.С. Только текст. Постсоветская проза и ее отражение в литературной критике. М.: Совпадение, 2007. С. 349).

² Глостанова М.В. Постсоветская литература и эстетика транскulturации. С. 155.

государство. Россия нашла мне в карман <...>. Я перестал болеть Россией. Я почувствовал, как освобождаюсь от подлой зависимости твердить ее имя с той же частотой, с которой немец произносит слово “шайсе”. У меня вырастают крылья. В меня хлынула новая радость. Пора сматываться».

Писатель имитирует «промежуточную», «маскарадную», «пластичную» самоидентификацию¹: «Когда я смотрю на Алексея Матвеевича, Федора Максимовича, Ларису Владимировну, Василия Михайловича, Дмитрия Васильевича, Ирину Никаноровну, Софию Ивановну (если она еще не умерла), ди-джея Элеонору, на моего механика Володю и на сторожей из гаража “европейским” взглядом, мне кажется, что они – уроды. А стоит мне на них посмотреть русским взглядом, то – никакие они не уроды. Вот так я и существую: то уроды – то не уроды».

И все же в итоге россияне должны оказаться и оказываются именно «уродами» – потому что побудительным мотивом создания этой книги является не только «истерическое» стремление произвести наибольший эффект, обратить на себя внимание эпатажными выходками, но и прямо выполнить заказ гипотетического западного читателя. В «Записях и выписках» Гаспаров приводит забавный разговор: «И. Аксенов (в письме к С. Боброву) когда был у Пикассо, то сказал: Что ж вы меня не спрашиваете о белых медведях, вы ведь полагаете, что они у нас по улицам бегают? – Нет, не полагаю, тогда бы их шкуры дешевле стоили; а то я хотел подарить одной даме, но цена – не подступишься! – И, помолчав, с надеждой: Ну, а волки-то хоть бегают?» Ерофеев гораздо стоворчливее Аксенова и, оправдывая надежды западного читателя, всегда готов показать ему желанного «белого медведя»: «На московских вокзалах стали появляться пирожки с человеческим мясом. Пассажиры едят с удовольствием»; «У всех невесты как невесты, а у моей – шизда похожа на собачью. Четыре пары сосков, шерсть тигристая, нос приплюсн. По утрам крутится перед зеркалом в одних французских трусах».

Ключом к сюжету «Энциклопедии...» можно считать одну из бесчисленных глумливых метафор автора-мифомана: «Я сидел на табурете и отдираю Россию, как пластырь, от своей волосатой ноги». У читателей должно сложиться впечатление, что автору это удалось гораздо легче, чем ему самому хотелось показать.

¹ Там же. С. 155, 158.

Карнавальное, элементарное самоутверждение в последние годы поистине вездесуще. Из художественной, автобиографической и эссеистической литературы оно проникает даже в литературоведческие труды. Обратимся только к одному сюжету, развернутому в глумливом карнавале отечественной филологии.

Развивая киостиновский ряд отрицательных формул и подводя их под общий знаменатель карнавного «телесного низа», российские писатели и критики в начале 1990-х годов вывели еще одну «закономерность»: *Россия – страна сексуально неполноценная, нуждающаяся в прививке сексуальной эмансипации.*

Освободительная борьба с «сильными идентификациями» и общепринятыми критическими интерпретациями, с нормой, навязанной еще школой, в эпоху «пост-» оборачивается войной с текстом. М. Гаспаров предупреждал: «Постструктурализм – стремление высвободиться из-под авторитетов? Но авторитетно ведь каждое письменное слово <...> в отличие от устного. Если, чтобы вызволиться, я начинаю писать сам – это я борюсь за подмену одной власти другой, а мы знаем, что из этого бывает. Пляшущий стиль Деррида – это атомная бомба в войне за власть над читателем»¹.

Один из первых уроков «садицкого» обращения с отечественной школьной и детской классикой продемонстрировал мэтр структурализма А. Жолковский² в статье «Морфология и исторические корни «После бала»». Символично, что образцово-показательному насилию был подвергнут именно толстовский рассказ, посвященный теме насилия. Уже в первых строках статьи настораживает слово «архаический»: давно известно, что когда интерпретатор обещает «углубить» принятую трактовку <...> в свете некоторых архаических моделей, присутствующих в рассказе лишь *подспудно*³, это значит, что текст будут пытаться. И точно: как только речь заходит об «архаических моделях», Жолковский тут же прибегает к жестокой подтасовке: «... поскольку, – рассуждает автор статьи, – татарин <...> выступает своего рода заместителем Вареньки, то сцена (истязания – М.С.) в целом символизирует вытеснение светской любви любовью к страдающему

¹ Гаспаров М. Записи и выписки. С. 398.

² Жолковский А. Морфология и исторические корни рассказа Л. Толстого «После бала» // Даугава, 1990, № 12; Жолковский А. Морфология и исторические корни «После бала» // Жолковский А. Блуждающие сны. М.: Советский писатель, 1992. Цитаты даны по последнему изданию.

³ Жолковский А. Блуждающие сны. С. 109.

телу Христову»¹. Даже если не допытываться, каким образом второй тезис следует из первого, все же остается вопрос: почему татарин не может просто восприниматься в связи и по контрасту с Варенькой, почему он непременно должен «выступать» ее «заместителем»?

А вот почему – для прямой конфронтации филолога с замыслом Толстого. Это заметно уже в преамбуле к основной части статьи: «Приведенным анализом броской двухчастной композиции «После бала» и вытекающей из него интерпретацией можно было бы удовлетвориться, если бы не оставляемое ими ощущение черно-белой плакатности, тогда как в этом маленьком шедевре о любви и смерти интуитивно чувствуется более глубокая архетипическая подоплека»². Неспроста риторика Жолковского так витиевата («можно было бы», «если бы», «тогда как») и темна (с тавтологическим параллелизмом «ощущение» – «интуитивно чувствуется»). Это знаки двусмысленности: «ощущение черно-белой плакатности» вызывает у филолога именно замысел писателя, а чувство «более глубокой архетипической подоплеки» предвещает домыслы самого автора статьи.

Ведь как из текста, так и из контекста (хотя бы даже очерченно-го в статье) с очевидностью следует, что Толстой не имел намерения писать «маленький шедевр о любви и смерти». Речь в рассказе идет о другом: писатель уличает «высокое и прекрасное» элитарной культуры, выявляя ее скрытые основания – насилие и ложь. Схематическая ясность идеи (не «плакатной», а проповеднической) при сложности и изощренной парадоксальности приемов – такова обычная тактика Толстого в достижении эффекта неотразимой убедительности; всякие «архетипические подоплеки» только повредили бы замыслу, поскольку отвлекли бы читателя от главного. Все это хорошо известно Жолковскому, но, видимо, кажется ему слишком банальным. Он хочет самоутвердиться и эпатировать³, поэтому ему

¹ Там же. С. 116.

² Там же. С. 117.

³ См. приведенное выше замечание Л. Гинзбург по поводу эссе М. Энгштейна «Очередь»: «Энгштейн хотел непременно сказать то, что никто не говорит». Пройдет десять лет после появления этой записи, и сама Л. Гинзбург станет предметом странных интерпретаций. Так, К. Кобрин признается, что понять прозу Гинзбург ему помогло чтение «Сверхчеловеческих супертекстов» Я. Могутина, «написанных на первый взгляд не чернилами, а спермой» (Кобрин К. Письма в Кейптаун о русской поэзии и другие эссе. М.: Новое литературное обозрение, 2002).

приходится мимоходом «казнить автора» и самому стать «подставным автором»¹.

«Углубление» филолога в захваченный им текст начинается с нарциссического лобования своими «ощущениями» и «интуициями», а завершается садистским навязыванием автору некой «бессознательной» стратегии (не оксюморон ли это на грани абсурда?). Куда же несет интерпретатора его «поток сознания», какое направление он приписывает «бессознательному» автору; где искомая глубина? Тайна скрывается в той точке, где соединяются «любовь и смерть», – *между ног*. Фигура Вареньки освещается критическими «прожекторами»: «белизна платья, перчаток и башмачков» («цвет смерти»), «перышко» (соотносящее героиню рассказа с жар-птицей, то есть с «невестой-вредителем»), «бронзовые одежды» (метафора рассказчица не относится прямо к Вареньке, но это все равно, ведь они так идут «деве-воительнице»²). ... И, наконец, вывод: «Он (герой рассказа – М.С.) должен преодолеть физическое сопротивление женщины <...> символизирующее вызов его мужской силе, в частности, преодолеть страх перед *vagina dentata* (то есть перед “женщиной <...> с зубами в промежности” ...»³).

Итак, следуя за интерпретатором, «после бала» мы попадаем в страшную сказку, где «роль колдуна» играет вовсе не полковник⁴, а сам интерпретатор. Все персонажи, да и детали толстовского рассказа превращаются под его магическим воздействием во что-то иное. Так, истязаемый татарин – уже ни в коем случае не татарин: он превращается в «двойника героини» (наказание шпицрутенами в таком случае – «символическая дефлорация»⁵, «гипербола брачного насилия») или, если употребить другое заклинание, – в заместителя героя (тогда наказание шпицрутенами уже инициирует жениха⁶).

Выводы статьи отмечены тем же колдовским соединением оборотничества и лукавой уклончивости. «На фоне Серебряного века,

¹ См.: *Компаньон А.* Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2001. С. 61-62.

² *Жолковский А.* Блуждающие сны. С. 120.

³ Там же. С. 121-122. Жолковский цитирует Пропта (*Пропта В.Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л.: Издательство ЛГУ, 1946. С. 308).

⁴ Там же. С. 126.

⁵ Там же. С. 122.

⁶ Там же. С. 126.

с его интересом к прямому синтезу культурных моделей» (не правда ли, пример автометаописания?), рассказ представляется Жолковскому «христианским в самом аскетическом смысле слова» (в нем Толстой будто бы «разыгрывает свой вариант перехода от язычества к христианству»). Но вот, по мановению филологической волшебной палочки, меняется фон и вместе с ним смысл рассказа. А заклинания все то же – «подспудные мотивы» и «подоплека»: «... учет декадентского контекста, с одной стороны, и возможных подспудных мотивов, характерных для позднего Толстого, с другой, позволяет предположить менее благочестивую подоплеку – вынесение на свет и разыгрывание, хоть бы и в ключе морального осуждения, противоречивого комплекса страха перед сексом и насилием и одновременного притяжения к ним»¹. Все, на что направляет Жолковский свою волшебную оптику, начинает двоиться – контекст (Серебряный век и декадентство), «культурные модели» (язычество и христианство), «бессознательные стратегии» (осуждение и разыгрывание), авторские «подспудные модели» (страх и притяжение). И что же в результате? Какими словами завершаются запутанные виражи филологического «дискурса», защищенного двойными рядами оговорок («возможные» мотивы, «хотя бы и», «позволяет предположить»)? Притяжение к сексу и насилию. А доказательства? «Но ограничимся сказанным», – так филолог-колдун ускользает от ответственности, вновь, как и в начале статьи, обернувшись скромным академическим начетником.

Но не стоит воспринимать все сказанное Жолковским всерьез. Ключевое слово в последнем абзаце статьи – «разыгрывание», дважды повторенное и подмигивающее двумя значениями. О стратегии бывшего строгого структуралиста (вполне сознательной) еще полтора десятилетия назад было сказано: «щегольство», «пижонство»: в его «поздней манере» средством <...> достижения (эффекта – М.С.) делалась блестящая интертекстуальная игра, остроумные сопоставления несопоставимых, казалось бы, текстов и цитат. Сами цитаты, бывает, не очень-то точны – с точки зрения традиционной филологии это нарушение основополагающих требований научности; но в том-то и дело, что приоритетную цель для исследователя составляет здесь нечто иное»².

¹ Там же. С. 129.

² *Зенкин С.С./З.* или Трактат о щегольстве // Литературное обозрение, 1991, № 10. С. 37. Сам Жолковский так определил свою стратегию: «литературоведческий дискурс <...> мешающий научную доказательность с сюжетной соблазнительностью» (*Жолковский А.К. Ж/З.* Заметки бывшего

Это иное – самоутверждение литературоведа за счет русской классики.

Такие критики и литераторы, как Жолковский, еще только играли в войну, обаятельно и талантливо; эта игра была «полупародийной», не лишенной самоиронии и поэтому относительно свободной от деконструктивистского терминологического террора. Но тогда же, в начале девяностых, на место мэтра подошла смена, молодые рекруты постструктурализма, – и уж эти, вследствие полного отсутствия чувства юмора, шутить не стали. Возобладала не игровая тенденция, но маниакальная: представители «садистского» литературоведения девяностых годов взяли за образец не «пируэты» Жолковского, а монструозные опыты И.П. Смирнова, с его исследованиями «кастрационной логики» и «кастрационной интертекстуальности»¹.

пред-пост-структуралиста // Литературное обозрение, 1991, № 10. С. 35.

¹ Как высказывание исследователя о себе самом невольно воспринимается его следующее положение: «Если тоталитарная культура делает вид, что чудовищного нет, то постмодернизм не в состоянии концептуализовать субъекта вне монструозности» (Смирнов И.П. Эволюция чудовищного // Смирнов И.П. Психодиахронология. Психистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. С. 334). «Психодиахронология» Смирнова нередко зачисляется в список основополагающих трудов. К. Кобрин иронически называет книгу Смирнова веселой, с «еще более развеселым заглавием»: «В ней бедный Пушкин мучим непреодолимым страхом кастрации, а героиня стихотворения Пастернака из загадочных соображений носит с собой ночной горшок: "...вошла со стулом"». Но и Кобрин признает влияние на него смировского сочинения: оно «уже несколько лет раздражает, провоцирует (и стимулирует) меня» (Кобрин К. «Слова» и «вещи» позднесоветского детства // Логос, 2000, № 3. С. 44). Столь же ироничен призыв Кобрин: «Читайте, читайте сочинение Игоря Смирнова <...> Узнаете массу околукушеточного о папеньках, маменьках, кастрационных страхах и шизонарциссизме русских литераторов. И каким благостным историографическим оптимизмом дышит последняя фраза этой книги: "Дальнейшее психологическое исследование ранних форм культуры зависит от успехов стадиологического изучения сравнительно поздней духовной эволюции ребенка, совершающейся после того, как он выходит из периода кастрационных фантазий!" Все вперед! Скоро мы познаем истину!» (Кобрин К. Профили и ситуации. [Статьи и эссе]. Урби: Литературный альманах. Выпуск двенадцатый. СПб.: ЗАО «Атос», 1997. С. 41). И ведь читают, и ссылаются, и нередко признают «интеллектуальным шедевром» (см.: Гольяко-Вольфсон Д. Новые языки интеллектуальной корпоративности и их потребление культурным сообществом в России // <http://www.earthburg.ru/earthadm/php/process.ph>

«Пост-культурная» стадия оказалась на удивление схожей с «до-культурной»: самоутверждаясь в агрессии против классики, не уподоблялась ли «садистская» критика и литература примитивному хулиганству школьника, пририсовывающего фаллос к картинке в учебнике? Но настоящей «вольницы» тоже не получилось, одна только дикость: уход из-под принудительной власти «школьной» идеологии обернулся добровольным рабством – под властью западной постструктуралистской критики. Филологи и литераторы «новой волны» отваживались кривляться и строить рожи русской высокой культуре только из-за спин западных деструктивистов, только прикрывшись модными цитатами и терминами, спрятавшись в десах авторитетных сносок.

Главное, что самим новым нигилистам было решительно нечего сказать. Их шанс высказаться был исключительно в мародерстве, только в неприличных жестах на фоне былых «высокого и прекрасного». Показательно, с каким воодушевлением в начале девяностых иные филологи объявляли о том, что все прежнее рухнуло. Так, В. Курицын бодро убеждал тогда: постмодернизм – не только в «смерти автора», «новой сексуальности», наступлении «постсексуального» и «гомосексуального» дискурса, но и, что «гораздо важнее», в торжестве «комплекса философских идей, так или иначе трактующих ситуацию "конца истории"»¹. Позже, выступая в дискуссии между филологами и философами, организованной НЛО, Курицын с каким-то особым чувством уличал тех, кто еще верит в «некий законченный смысл текста», «некий смысл человека»². Курицынское представление о «конце истории» и маленьких «смыслах», которые «плывут» и «присваиваются»³ – не просто жалкое эхо западной «распущенной мысли»⁴ («Если бессмыслие – это смысл, смысл бессмыслия теряется, вновь становится не-смыслом»⁵, и далее в том же духе). Это индальгенция, выданная самому себе: раз нет больше «законченно-

[p?lang=r&c1=10&id=1&file=golinko.htm](http://www.earthburg.ru/earthadm/php/process.ph?lang=r&c1=10&id=1&file=golinko.htm).

¹ Курицын В. Время постсовременности // Новая волна. Русская культура и субкультура на рубеже 80–90-х гг. М.: Московский рабочий, 1994. С. 75.

² Философия филологии // НЛО. № 17. 1996. С. 72.

³ Там же.

⁴ Ж.-П. Сартр о Ж. Батае (Сартр Ж.-П. Один новый мистик // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994. С. 33).

⁵ Слова Ж. Батая. Цит. по: Сартр Ж.-П. Цит. соч. С. 41.

го смысла», значит, нет больше критериев и приличий, «да» и «нет», «можно» и «нельзя». Что же есть? «Плавающий» смысл – какой захочу, «актуальные» практики¹ – любые, какие заблагорассудится.

Что же в итоге предлагают нам филологи и литераторы «садиетского» направления? *Тайну между ног – вместо смысла*. На какую тайну они прозрачно намекают? На то, что *русская литературная традиция умерла*. Какую тайну они скрывают? Что они собираются самоутвердиться на фоне национальной классики, питаются ее «симулякрами», как «Сонетные» В. Сорокина: «Сонетные стремительно выжирают ее (Наташе Ростовой – авт.) внутренности с костями и успевают вылететь из полностью выеденного тела перед самым падением. Кожа Наташи Ростовской долго планирует над родовым помещением и повисает на ветвях цветущей яблони»².

А чего стоит эта тайна, сказано задолго до появления новейших «Сонетных» – М. Бахтиным (В. Волошиновым) в его книге «Фрейдизм»: «Где закрыты творческие пути истории, там остаются только тупики индивидуального изживания бессмысленной жизни»³.

Манипулятивное самоутверждение в литературе «пост...»: издевательство над русским языком и литературной традицией как условие обретения власти над читателем.

Стремление к вневходимости во многом определяет современную российскую прозу – с ее вольной или невольной имитацией западного взгляда на русскую действительность и с ироническим паразитированием на западных образах России. Борьба за свободу от «сильных идентификаций» оборачивается новой борьбой за власть, стремлением манипулировать читателем, навязывать ему свои «вненациональные» установки.

Одним из наиболее характерных писателей-«псевдополитов» является В. Пелевин. «Над-национальный» писатель с легкостью отказывается от тех ценностей, с которыми прежде была неразрывно

¹ См.: *Философия филологии*. С. 72-73.

² Из рассказа В. Сорокина «Сонетные» (цит. по кн.: *Пятиконечная звезда*: Сборник. М.: Зебра Е, ЭКСМО, 2003).

³ *Волошинов В.Н. Фрейдизм // Бахтин под маской. Маска первая*. М.: Лабиринт, 1993.

связана литература, но от власти отказаться не хочет. «Я писатель. Я ни перед кем не ответствен»¹, – заявляет Пелевину. И тем не менее – претендует на статус «владельца дум». Но по какому праву? По праву силы: безответственность – привилегия «настоящего писателя», его предназначение не в том, чтобы служить – чему-либо или кому-либо, а в том, чтобы править.

Много писали о том, что Пелевина отличает «абсолютное отсутствие индивидуальной интонации», «стиль школьного сочинения», «скудость словарного запаса». Писателя ловят на детских ошибках – тавтологиях, плеоназмах, нагромождении словесных штампов – уличают в неумении обращаться с русским языком. Тем сильнее в Пелевине стремление утвердить свою власть по ту сторону родного языка. Условие его писательского бытия – «выход из языка», «языковая разруха»².

Для того, чтобы разрушить язык, писатель разворачивает метафору вневходимости в ее предельном значении – «пустота». Если Пригов говорит о России (с аллюзией на «петербургский текст»): «У меня есть один образ: Господь здесь [в России] пожелал пустое место»³, то Пелевин выводит из этой формулы ни много ни мало – романский сюжет. *Стереотип а-ля Кюстин: «абсурдность русской жизни» – мотивировка любого сюжетного хода в романе*.

Гордость первооткрывателя ощущается в тексте «Чапаева» на метафорическом уровне: мотивировка «пустотой» уподоблена действию магических предметов – авторучке, из которой можно «выстрелить в зеркальный шар этого фальшивого мира», или даже самому глиняному пулемету, превращающему нечто в ничто. Когда-то скромное оружие письма дало имя понятию «стиль», и вот новое страшное оружие должно, очевидно, это понятие отменить – раз и навсегда. Глиняный пулемет – хорошая защита для плохой прозы, защита от родного языка.

Под его прицелом слова превращаются в тени слов, в призраки слов. Слово становится на удивление податливым: его можно поставить на любое место, соединить с каким угодно другим словом, потерять и забыть. Опыт ликвидации слова как такового продемонстрирован в цен-

¹ *Парамонов Б.* Пелевин – муравьиный лев // <http://pelevin.nov.ru/stati/0-svob/1.html>

² См.: *Павловский Г.* Тренировка по истории. С. 17, 147.

³ *Пригов Д., Шаповал С.* Указ. соч. С. 101.

тральной части «Generation П» – докладе Че Гевары. Разыгрывается нехитрая комбинация в три приема: сначала «коммерческое междометие» «wow!» возводится в термин, затем он метафорически расширяется и, наконец, захватывает то или иное слово по выбору. И вот уже известная поговорка «Человек человеку волк» звучит как «Вау Вау Вау!»; вместо звуков членораздельной речи – лай, вместо значения – дырка.

Абсолютная тавтология, «засасывающая пустота» этого «Вау Вау Вау!» грозит поглотить все написанное; именно слоган «Вау!» на второй обложке «Generation П» воспринимается как итог всего романа. Перед этой метафизической опасностью – стоит ли говорить о частных случаях тавтологии («открыв дверь, я сел на сиденье рядом с ним»; «заложив за голову сложенные руки, уставился в потолок», «явственно заметное течение»? Весь мир – тавтология в широком смысле («фильм про съемки другого фильма, показанный по телевизору в пустом доме»), а значит, тавтологии в узком смысле – нет. И никакой зонл не придерется.

Это ничего, что автору «Чапаева» не удается свободно писать на русском литературном языке. Пусть стилизовать язык интеллигента десятых годов Пелевину удастся лишь на уровне киношной белогвардейщины («отчего же?», «вы полагаете?», «отнюдь»). Все равно ведь «мысль изреченная есть ложь» (да и неизреченная тоже), все равно «слова неизбежно упрутся в себя». Поэтому надо просто повернуть башню с глиняным пулеметом вокруг оси – нет, не спародировать литературный язык (это сложно), а дискредитировать его. Как? Высокие слова уморить травестией («блудливое целомудрие», «трипперные бунинские сеноваль», «духовный мусоропровод», «сутенеры духа») низкие слова обработать бурлеском («сиська в себе», «вечный кайф, если раз вставит, то потом уже не кончится никогда», «возьмите экстаз [наркотик – авт.] и растворите его в абсолюте [водке – авт.]). Смешать высокое с низким вплоть до неразличения, соединить несоединимое, довести речь до абсурда, до вавилонского столпотворения («Вы ска нежите стан пройти до акции?»; «Мне бы похоть дыхтелось вохо!»). А самому остаться на пяточке языкового пространства – в «слепой зоне» разноязычного жаргона.

Почему так привлекает Пелевина жаргон, будь то бандитская фея, молодежный сленг, терминологический волюпкок или новояз рекламы и PR? Из-за того, что, как говорит писатель в одном из интервью, «в речи братков есть невероятная сила», а «за каждым поворотом их базара реально мерцают жизнь и смерть»? Нет, «жизнь и смерть» – это

для красного словца. Просто русский литературный язык Пелевин не может даже освоить, а жаргон он вполне в состоянии себе подчинить. Куда как легче переставлять готовые блоки и направлять заданные эмоции жаргона, чем иметь дело с «великим и могучим».

Проза Пелевина построена на игре слов; это для писателя одновременно и цель, и средство. Как только мы открываем очередной пелевинский роман, нас обступает «лес каламбуров, плотно упакованных в литературные реминисценции»¹. Читать Пелевина значит перебегать от одной каламбурной остроты к другой; если писатель не играет словами, значит, дает читателю немного времени перевести дыхание и подготовиться к новому аттракциону.

Текст изобилует трюками. Писатель добивается «натромождения каламбурного абсурда»: «Мата Хари – мата хари», «с корабля на бля», «мал, да уд ал», «тачанка – touch Апка», «Ебанипада»². Один каламбур влечет за собой целый каламбурный каскад: велед за «Некола для Николь» жди «ни кола ни двора», «кола-колокол»³ и т.д. Посредством игры слов писатель добивается «внидрения» своих книг и «вовлечения» читателя.

Игра слов предписана читателю как *стиль мышления, стиль общения, стиль жизни*. Научившись у Пелевина острить и каламбурить, желающий получает возможность с блеском говорить, когда ему нечего сказать. Под руководством писателя можно освоить новый жаргон. Игра слов дает им ощущение обладания словами и свободы от того, что эти слова означают, в конечном же счете – *обретения состояния венаходимости*.

В чем «message» Пелевина? Обратим внимание, как он переводит буддизм на бандитскую фею: «Будда – это ум, который развел все то, что его грузило, и слил все то, что хотело его развести»⁴. «Не грузись», живи играючи, не принимай ничего всерьез – вот урок писателя⁵; не

¹ *Генис А.* Поле чудес. Виктор Пелевин // *Генис А.* Иван Петрович умер. Статьи и расследования. М., 1999. С. 83.

² *Парамонов Б.* Пелевин – муравьиный лев // <http://pelevin.nov.ru/stati/0-svob/1.html>

³ *Пелевин В.* Generation П. М.: Вагриус, 1999. С. 19, 61, 95; *Пелевин В.* Чапаев и Пустота. М.: Вагриус, 1997. С. 241, 275.

⁴ *Пелевин В.* Generation П. С. 36-37.

⁵ <http://lib.rus.ec/b/42064/read>

⁶ См. схожие сентенции из «Generation П»: «Когда не думаешь, многое становится ясно» (С. 48) и «Чапаев»: «Весь этот мир – анекдот, который

то чтобы урок нигилизма (громкое слово), а так – «пофигизма». Главное – не признавать над собой никаких «сильных идентификаций», никакой власти, кроме той, что исходит от НЕГО, «НАСТОЯЩЕГО ПИСАТЕЛЯ».

Тем, кто попал в резонанс пелевинской прозы, очень трудно объяснить, почему «приколы» не мешают, а кроссворды не увлекают; почему хочется закрыть книгу, наткнувшись на фразу: «Чапаев комментировал одно место из Сведенборга...»¹ Таких читателей много. Однако немало и тех, на кого чары писателя не действуют. А для них загадочное «П» из названия пелевинского романа может показаться не столько сатирой («Пепси»), пророчеством («п...ц») или утверждением власти («Пелевин»), сколько математическим числом «Пи». Бесконечную десятичную дробь как символ скуки видят они в прозе, столь богатой сильными эффектами, – *бессмысленный набор одних и тех же приемов*. В конечном же счете это та же «пустота», что и в названии романа о Чапаеве. *Пустота «внезаходимости»*.

Предел отстранения от русской литературы, пожалуй, достигнут в «проекте» В. Сорокина. Отечественная традиция для автора «Нормы» и «Льда» – это то, что подлежит вивисекторскому препарированию; а власть над русским читателем – это власть провокатора-экспериментатора над подопытным кроликом. Метод Сорокина последовательнее всего развернут в романе «Роман»: на протяжении более четырехсот страниц автор последовательно выстраивает стилизованную энциклопедию стереотипов русской классической литературы: здесь и русский пейзаж («Чудный вид открывался впереди»²); и русская «быстрая езда» («Он не просто любил быструю ездку, как свойственно всякой русской душе, а питал к ней невыразимую, сильную страсть...»³); и русская охота, и русское застолье («... для русского человека оно кажется просто панацеей от многих бед»⁴), и русская

бог рассказал самому себе» (С. 356).

¹ Пелевин В. Чапаев и Пустота. С. 374.

² Сорокин В. Роман. М.: Астрель: АСТ, 2008. С. 15, 252.

³ Там же. С. 16.

⁴ Там же. С. 104.

баня («Какая простота и сила в русской бане!»⁵), и русская любовь, и «русский смех»², и русская вера («... он уверовал сразу, уверовал бесповоротно и сильно...»³); и высокие слова о русской интеллигенции («... спокойная решительность, на которую по-настоящему способны лишь русские интеллигенты, ломающие свою судьбу раз и навсегда»⁴). И все это в такой невероятной концентрации, с таким перебором стилистического «меда», страница за страницей, что, право, когда на последних ста (!) страницах протагонист романа Роман начинает методично вырубать всех персонажей топором (сначала всех в усадьбе, а затем и в деревне), это воспринимается читателем с облегчением. Сорокин неутомимо и терпеливо, как лабораторный исследователь, ставит эксперимент над читателем: добивается, чтобы тот наелся всем «русским» до отвращения, до тошноты. Неслучайно последний перед резней многостраничный эпизод – свадебный пир, и неслучайно к концу нарочито приторных описаний возникает прозрачная аллюзия на крыловскую «Демьянову уху».

Так писатель добивается двуединой цели: с одной стороны, утверждает в своей власти над читателем, манипулируя им, ставя на нем разнообразные литературные опыты; а с другой стороны, под пыткой внушает ему убеждение, что русский «роман умер» (последняя каламбурная фраза романа)⁵.

Что же принципиально нового в современной ситуации «псевдоморфозы»? Действительно новая, именно «сегодняшняя» тенденция – это массовое превращение литературы в «саморазоблачительный фарс»⁶, торжество «отрицательной» идентичности, не просто замещение своего (отечественных традиций, закрепленных в языке)

¹ Там же. С. 200.

² Там же. С. 179.

³ Там же. С. 90-91.

⁴ Там же. С. 41.

⁵ Там же. С. 541.

⁶ Выражение С. Кургина. Ср.: «В таком обществе, как наше, пир не сразу перестает действовать. Он не выключается, а гаснет. Угасает постепенно. И кому-то это может внушать надежды. Вотще! Риторика уходит... Риторическая пьеса на патристическую тему на глазах превращается в саморазоблачительный фарс» (Кургина С. Консервация катастрофы // Главная тема. Июль-август 2005. С. 24).

спроецированным извне, переведенным с иностранного, но и навязывания этого «перевода» как литературной «нормы».

Каков же вывод из наших наблюдений за эволюцией патриофобии в русской литературе? Можно с определенностью сказать, что эта тема завершилась окончательно и бесповоротно, потому что полностью исчерпала себя, что внезапность привела к последнему, непреодолимому тупику – монотонному повторению одного и того же («Литература о литературности литературы» («fiction about the fictionality of fiction» – К. Брук-Роуз), пародии на пародию, приеме на приеме.

Будущее за подхватывающей национальную традицию «литературой существования», литературой подлинной, «случившейся», выросшей из обстоятельств русской истории и личной судьбы.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аксезер А.С. Где искать самобытность? Специфика исторического пути России // Дружба народов, 1995, № 1.
- Бавильский Д. Полтинник Сорокина // <http://www.vz.ru/columns/2005/8/10/3542.html>
- Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М.: Худ. лит., 1986.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худ. лит., 1990.
- Белинский В.Г. Избранные письма. В 2-х тт. М.: Худ. лит., 1955.
- Беломоро-Балтийский канал имени Сталина. История строительства. М., 1934.
- Беньямин В. Московский дневник. М.: Ad Marginem, 1997.
- Бердяев Н.А. Духи русской революции // Вехи. Из глубины: Сборник статей о русской революции. М.: Правда, 1991.
- Беседы В.Д. Дувакина с М.М. Бахтиным. М., 2002.
- Бибисин В.В. Новый ренессанс. М.: Наука; Прогресс-Традиция, 1998.
- Бизнес. М., 1929.
- Бледный С.Н. Язык как фактор манипулятивного управления массовым сознанием в социальной философии А.А. Богданова // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. №3. 2004.
- Блехер Л.И., Любарский Г.Ю. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Нового Средневековья. М.: Академический проект, 2003.
- Блок А. Сочинения в двух томах. М.: Худ. лит., 1955.
- Богданов А.А. Красная звезда // Вечер в 2217 году. М.: Московский рабочий, 1990.
- Булгаков М.А. Собр. соч.: В 5 тт. Т. 2. М.: Художественная литература, 1992.
- Вагинов Конст. Кошачья песня. Романы. М.: Современник, 1991.
- Вайль П. Карта родины. М.: Колибри, 2007.
- Вахитова Т.М. «Русский денди» в эпоху социализма: Валентин Стенич // Михаил Зощенко. Материалы к творческой биографии. Книга 2. СПб., 2001.
- Волошинов В.И. Фрейдизм // Бахтин под маской. Маска первая. М.: Лабиринт, 1993.
- В. Стенич: Стихи «русского денди» / Предисловие Л.Ф. Кациса // Литературное обозрение. 1996, № 5/6.
- Вульф Л. Изобретая Восточную Европу. Карта цивилизации в сознании эпохи просвещения. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
- Галковский Д. Бесконечный тупик. М.: Самиздат, 1998.
- Гантушкин П.Б. Избранные труды. М.: «Медицина», 1964.
- Гантушкин П.Б. Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях // <http://www.psychology.ru/library/00015.shtml>
- Гаспаров М.Л. Записи и выписки. М.: ИЛЮ, 2000.
- Гаспаров М.Л. Маяковский: первый разговор с товарищем Лениным // Круг чтения. Литературный альманах. Вып. 5. М.: Фортуна-Лимитед, 1995.
- Генис А. Иван Петрович умер. Статьи и расследования. М., 1999.

- Герцен А.И.* Былое и думы. В 3-х тт. М.: Худ. лит., 1982.
 Герцен об искусстве. М.: Искусство, 1954.
Гершензон М. Избранное. В 4-х тт. М.–Иерусалим: Университетская книга; Gesharim, 2000.
Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПб, 2002.
Гиптус В.В. Гоголь в письмах и воспоминаниях. М., 1931.
 Глядя на Запад: Культурная глобализация и российские молодежные субкультуры. СПб.: Алетейя, 2004.
Гольдштейн А. Расставание с Нарциссом. Опыт поминальной риторики. М.: Новое литературное обозрение, 1997.
Гольинко-Вольфсон Д. Новые языки интеллектуальной корпоративности и их потребление культурным сообществом в России // <http://www.earthburg.ru/earthadm/php/process.php?lang=r&c1=10&id=1&file=golinko.htm>.
 Гостиница для путешествующих в прекрасном. 1922. № 1.
Грибоедов А.С. Поля, собр. соч. Пг., 1917.
Гройс Б. Поиск русской национальной идентичности // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М.: Медиум, 1993.
Гронский П.П. Юридическая природа С. С. С. Р. // Сборник, посвященный 55-летию со дня рождения и 35-летию научной деятельности П.Б. Струве. Прага, 1925.
Достоевский Ф.М. Собрание сочинений. В 10-ти тт. М.: Худ. лит., 1958.
Ерофеев В.В. Пять рек жизни. Роман-река. М.: Подкова, 1998.
Ерофеев В.В. Энциклопедия русской души. М.: Подкова; Деконт+, 1999.
Жолковский А.К. Ж/З: Заметки бывшего пред-пост-структуралиста // Литературное обозрение, 1991, № 10
Жолковский А. Морфология и исторические корни «После бала» // *Жолковский А.* Блуждающие сны. М.: Советский писатель, 1992.
Жолковский А.К., Ямпольский М.Б. Бабель /Babel. М.: Carte Blanche, 1994.
Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской картины мира. М., 2005.
Замiatин Е.И. Сочинения. М.: Книга, 1988.
Зелинский К. Конструктивизм и социализм // Бизнес. М., 1929.
Зелинский К. Поэзия как смысл. Книга о конструктивизме. М.: Федерация, 1929.
Зенкин С. С/З, или Трактат о щегольстве // Литературное обозрение, 1991, № 10.
Золотосов М. Окорок Сорокина под соусом «Модерн» // Афиша. 2002. №8 (79).
 Историческая наука в борьбе классов: исторические очерки, критические статьи, заметки. Вып. 2. М.–Л., 1933.
Каверин В. Избранные произведения. М., 1977.
Казанский Б. Речь Ленина // ЛЕФ, № 1, 1924.
Кантор В.К. Феномен русского европейца. Культурфилософские очерки. М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999.
Катаев В. Растратчики. Время, вперед! (новель, роман-хроника). М.:

- Текст, 2004.
Катаев В. Под чистыми звездами. М., 1969.
Ключевский В. Курс русской истории. Ч. V. М., 1937.
Кобрин К. Профили и ситуации. [Статьи и эссе.]. Urbi: Литературный альманах. Выпуск двенадцатый. СПб.: ЗАО «Атос», 1997.
Колеров М. Новый режим. М.: Модест Колеров & Дом интеллектуальной книги, 2001.
Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М.: Издательство им. Сабашиных, 2001.
Кулина-Александр И. Сорок январей // Литературное обозрение. 1991, № 9.
Куркинин С. Консервация катастрофы // Главная тема. Июль–август 2005.
Курицын В. Время постсовременности // Новая волна. Русская культура и субкультура на рубеже 80–90-х гг. М.: Московский рабочий, 1994.
Курицын В. Митадор на Луне: Проза. М.: Ракета, 2006.
Кюстин А. де. Россия в 1839 году. В 2-х томах. М., Из-во им. Сабашиных, 1996.
Латышев А. О рассекречивании трудов Ленина // Национальная газета, 2002, № 4-5.
Ленин В.И. Избранные произведения. В 3 тт. Т. 3. М., 1969.
Ленин Н. (В.И. Ульянов). Основные задачи партии при ЦЭПГ'е 1921–1923 гг. Статьи и речи. М.: Красная Новь, 1924.
Ленин В.И. Полн. собр. соч. В 65 тт. Т. 45. М.: Политиздат, 1970.
Лимонов Э. В плену у мертвецов. М.: Ультра Культура, 2002.
Лимонов Э. Другая Россия. Очертания будущего. М.: Ультра.Культура, 2003.
Лимонов Э. Книга воды. М.: Ad Marginem, 2002.
Лимонов Э. Это я, Эдичка. М.: Независимый альманах «Конец века», 1992.
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.
Маяковский В.В. Полное собрание сочинений в 13 тт. М.: ГИХЛ, 1955.
Мильчина В. Россия и Франция. Дипломаты. Литераторы. Шпионы. СПб.: Гипернион, 2006.
Мильчина В., Осоват А. Комментарии // *Кюстин А. де.* Россия в 1839 году. В 2-х томах. М., Из-во им. Сабашиных, 1996.
Могутин Я. Термоядерный мускул. Испражнения для языка: Избранные тексты. М.: НЛО, 2001.
 Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М.: Московский рабочий, 1990.
Найшуль В. Мы ныне – рассеянный народ // Русский журнал, 17 ноября 2003 – http://old.russ.ru/ist_sovr/20031117_prog.html
Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М.: Пресса, 1991.
 Одиннадцать бесед о современной русской прозе. М.: НЛО, 2009.
Павловский Г. Тренировка по истории. Мастер-классы Гефтера. М.: Русский институт, 2004.
Панюшкин А. Логика бешеной собаки // Журнал «Ъ» «Gentlemen's Quarterly», февраль 2005 года.
Парамонов Б. Пелевин – муравьиный лев // <http://pelevin.nov.ru/stati/0-svob/1.html>

- Пелевин В.* Generation 'П'. М.: Вагриус, 1999.
- Пелевин В.* Чапаев и Пустота. М.: Вагриус, 1997.
- Песков А.М.* Германский комплекс славянофилов // Россия и Германия. Опыт философского диалога. М.: Меднум, 1993.
- Печерин В.С.* Замогильные записки (Arologia pro vita mea) // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Из-во Московского ун-та, 1989.
- Пивоваров Ю.* Полная гибель всерьез. М.: РОССПЭН, 2004. С. 212.
- Платонов А.* Избранные произведения. М.: Экономика, 1983.
- Пауцер-Сарно А.* Русский «отстой»: от символа к тексту // НЛО, 2004, № 68.
- Попов Е.* Накануне накануне. М.: Гелиос, 2001.
- Поэты-имажинисты. СПб.: Петербургский писатель, 1997.
- Пригов Д., Шаповал С.* Портретная галерея Д.А.П. М.: Новое литературное обозрение, 2003.
- Пропл В.Я.* Исторические корни волшебной сказки. Л.: Издательство ЛГУ, 1946.
- Пумянский Л.В.* Классическая традиция. Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. В 10-ти т. Т. VII. М.-Л., 1951.
- Пятиконечная звезда: Сборник. М.: Зебра Е, ЭКСМО, 2003.
- Ремизова М.С.* Только текст. Постсоветская проза и ее отражение в литературной критике. М.: Совпадение, 2007.
- Рис Н.* Русские разговоры: Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: НЛО, 2005.
- Розанов В.В.* Легенда о Великом инквизиторе Ф.М. Достоевского. М.: Республика, 1996.
- Розанов В.В.* Мимолетное. М.: Республика, 1994.
- Розанов В.В.* О писательстве и писателях. М.: Республика, 1995.
- Ройзман М.* Все, что помню о Есенине. М., 1978.
- Русские и «русскость». Лингво-культурологические этюды. М., 2006.
- Рыклин М.* О текстах Владимира Сорокина // Сорокин В. Собрание сочинений. М.: Ad Marginem, 1998.
- Рыклин М.* Террорологии. М.-Тарту: Эйдос, 1992.
- Сартр Ж.-П.* Один новый мистик // Танаграфия Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб.: Мифрил, 1994.
- Сельвинский К.* Избранные произведения. Л.: Сов. пис., 1972.
- Сивяцкий А.* Литературный процесс в России. М.: РГГУ, 2003.
- Смирнов И.* Владимир Сорокин. Путь Бро // <http://www.artpragmatica.ru/adm/preview/index.php?uid=306>
- Смирнов И.П.* Психодиахронология. Психостория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994.
- Соколов М.* Чуден Рейн при тихой погоде. Новые разыскания. М.: SPLS; Русская панорама, 2003.
- Сорокин В.* Роман. М.: Астрель: АСТ, 2008.
- Сосновский Л.* Дела и люди. Книга первая. М.; Л., 1925.

- Стелун Ф.* Бывшее и несбывшее. СПб.: Алетейя, 2000.
- Стелун Ф.А.* Чаемая Россия. СПб.: Издательство русского Христианского гуманитарного института, 1999.
- Тихонов Н.* Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. пис., 1981.
- Тлостанова М.В.* Постсоветская литература и эстетика транскультурации. Жить никогда, писать ниоткуда. М.: Едиториал УРСС, 2004.
- Толстой А.Н.* Петр Первый. Роман. М.: Худ. лит., 1981.
- Толстой А.Н.* Собрание сочинений в 10 тт. Т. 2. М.: Худ. лит., 1982.
- Топоров В.Н.* Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М.: Прогресс, 1995.
- Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977.
- Тынянов Ю.Н.* Пушкин и его современники. М.: Наука, 1968.
- Тынянов Ю.* Словарь Ленина-полемиста // ЛЕФ, № 1, 1924.
- Уайт Х.* Метанастория. Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Из-во Уральского ун-та, 2002.
- Февр Л.* Цивилизация: эволюция слова и группы идей // Февр Л. Бои за историю. М.: Наука, 1991.
- Федотов Г.П.* Письма о русской культуре // Русская идея М.: Республика, 1992.
- Федотов Г.П.* Собрание сочинений в 12 тт. Т. 9. Статьи американского периода. М.: Мартис, 2004.
- Федотов Г.П.* Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры. В 2 тт. СПб.: София, 1991.
- Философия филологии // НЛО, № 17, 1996.
- Фонвизин Д.И.* Избранные сочинения и письма. М.: ОГИЗ, 1947.
- Холмогоров Е.* Русский националист. М.: Европа, 2006.
- Чаадаев П.Я.* Полное собрание сочинений и избранные письма. М.: Наука, 1991.
- Чернышевский Н.Г.* Полное собрание сочинений в 15 тт. Т. 13. М., 1949.
- Шварц Е.* Живу беспокойно... Из дневников. Л.: Сов. пис., 1990.
- Шенк Б.* Ментальные карты. Конструирование географического пространства в Европе со времени эпохи Просвещения // Регионализация посткоммунистической Европы. Серия «Политические исследования». М.: ИННОН, 2001. № 4.
- Шкловский В.* Гамбургский счет. Статьи – воспоминания – эссе (1914 – 1933). М.: Сов. пис., 1990.
- Шпенглер О.* Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Всемирно-исторические перспективы. Т. 2. Всемирно-исторические перспективы. М.: Мысль, 1998.
- Эйхенбаум Б.* Основные стилевые тенденции в речи Ленина // ЛЕФ, № 1, 1924.
- Эйхенбаум Б.* «Мой современник...» Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. СПб.: ИНАПРЕСС, 2001.
- Эйхенбаум Б.* О литературе. Работы разных лет. М.: Сов. пис., 1987.
- Эко У.* Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ. М.: Эксмо, 2007.

Эпштейн М. Амероссия. Избранная эссеистика. М.: Серебряные нити, 2007.

Эренбург И. Необычайные приключения Хулио Хуренито и его учеников. М.: Эксмо, 2008.

Эренбург И. Стихотворения. Л.: Сов. пис., 1977.

Языков Н.М. Полное собрание стихотворений. М.-Л.: Сов. писатель, 1964.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абрамович, Р.А. 151
 Авиакум, протопоп 330
 Агранов, Я.С.
 Адамс, Г. 423
 Адамс, Дж. Кв. 410-411
 Аля де ла Торе, В.Р. 555-557, 600
 Айги, Г. 99-100, 267
 Авх, Г. 78
 Акройд, П. 204
 Аксенон, В. П. 500
 Аксенон, И.А. 665
 Акуини, Б. 652
 Александр I (росс. император) 336
 Александр II (росс. император) 514
 Алексеев, В.В. 38, 159, 162-163, 167, 226, 305
 Ангер, М.И. 565
 Альмон, С.Я.
 Альберти, Р. 562
 Амду, Ж. 562
 Анастасия Николаевна, вел. кн.
 Андерман, Я. 350
 Андерс, В.
 Андерсон, Ш. 425
 Андреев, Л.Н. 321, 544
 Андреева, Е. 199
 Андроппов, Ю.В. 199, 475
 Андрусевич, А. 324
 Анн, Ф. 87
 Анна Иоанновна, императрица 166, 267, 494
 Анлайк, Дж. 506
 Арагон, Л. 242, 562
 Аристотель 14
 Армстронг, Д. 420
 Аригольда, Х. 86
 Аридт, М. 81, 98
 Аридт, Э.М. 64
 Ариодд, М. 171, 174
 Арсеньев, В.К. 105
 Архангельский, А.Н. 644
 Аткинсон, Дж. 166
 Ауэ, Г. фон 52
 Ахметер, А.С. 27, 35, 41, 603, 679
 Ахмадулина, Б.А. 388
 Ахматова, А.А. 91, 98, 218, 220-222, 227, 241,

323, 349, 388

Бабель, И.Э. 554, 634, 637, 641, 680
 Бажов, П.П. 112
 Байет, Дж. 222
 Байрон, Дж. Г.Н. 168-169
 Бакуини, М.А. 293, 544
 Баллабанд, А.О. 476
 Баллак, О. де 234
 Бар, Г. 68
 Баратынский, Е.А. 103
 Баркер, А.М. 466
 Баркович, Й. 386
 Барлах, Э. 68
 Барно, Дж. 213-214, 223, 226
 Барский, В.Л. 84
 Барч, В. 89
 Басе 330
 Батозиков, К.Н. 103
 Баумгарт, А. 142
 Бауринг, Дж. 415
 Бахтин, М.М. 21, 227, 312, 643, 651-652, 672, 679
 Бачев, В.И. 84
 Бегбедер, Ф. 260
 Бедвири, К. 141-142
 Безродный, М.В. 84
 Бейкер, П. 476
 Бейли, Дж. 216, 221-222
 Бекман, Дж. 491
 Белницкий, В.Г. 612, 679
 Беллок, Х. 179
 Беллоу, С. 447-451, 506, 509
 Белов, И.М. 187
 Белый, А. 216, 388, 499, 597
 Бенн, Г. 74, 78
 Бениет, А. 174, 215
 Беньямин, В. 608, 679
 Бер, Й. 86
 Бергер, Р. 150
 Бергер, У. 77
 Бердселл, С. 517, 528, 532-534
 Бердяев, Н. А. 39, 357, 616, 679
 Беринг, В. 226

Берия, Л.П. 217
 Берк, Э. 189
 Берли, И. 143
 Берли, Ф. 167
 Бегеа, Д. 467
 Бехер, И.Р. 49, 71, 73, 97
 Беклер, В. 78
 Белькович, А. 389
 Бельский, З. 327, 457-459, 506
 Бельхилл, В.В. 251, 305, 603, 679
 Бинор, Э. 188
 Биллер, М. 130
 Биллингтон, Дж. 170, 468, 506, 510, 600
 Бинсли, Р. 15
 Бирн, Ф. 584
 Бирман, В. 79-80, 253
 Бисмарк, О. фон 63
 Биттон, А.Г. 99
 Бичер-Стоу, Г. 417
 Блок, А. А. 98, 103, 218, 287, 638-639, 679
 Блок, М. 14, 330
 Бломкин, Я.Г. 639
 Бобров, С.С. 665
 Бобровский, Й. 74, 77
 Богданов, А.А. 626, 679
 Боден, Ж. 29
 Боденштедт, Ф.М. 66
 Бойд, У. 207
 Бой-Желенской, Т. 321
 Бойм, С. 465-466, 508
 Болховитиник, Н.Н. 408, 419, 508
 Болларев, Ю. В. 322
 Болларетто, В. 107
 Боренштейн, Э. 491-492
 Борне Годунон 59, 285, 375
 Бори, Н. 78
 Бородин, А.П. 556
 Борхерт, В. 73
 Бонд, Х. 583
 Браглицкая, Э.В. 564
 Брайант, Л. 424
 Браун, Ф. 76
 Браунинг, Дж. 170
 Бредоло, Г. 61
 Брейли, К. 16
 Брейтуэйт, Р. 189, 225
 Бреттано, К. 65
 Бреттман, А. 86
 Брехт, Б. 73
 Бродский, И. А. 39, 99, 221, 269-270, 323, 349, 388, 477
 Брокес, Б.Г. 60
 Бромттон, Р. 166
 Броневский, В. 321
 Брукнер, А. 222
 Брук-Роуз, К. 678

Брэдбери, М. 212-213
 Брюсов, В.Я. 103, 388
 Буше, Н. 330
 Бузинов, Ю.Д. 475
 Булвер-Литтон, Э. 169
 Булгаков, М.А. 184, 219, 226, 323, 679
 Булгарин, Ф.В. 415
 Бунин, И.А. 186, 219
 Буресон, П.Н. 83
 Бунт, Дж., мл. 191
 Бухайа, Х. К. 528
 Бэринг, М. 179-180, 226
 Буффон, Ж. 14
 Бушар, В. 143-149
 Бялкович, Б. 324

Вагнер, А. 93
 Вагнер, Я. 82
 Вайтман, А. 93
 Вайль, П.Л. 663, 679
 Вайнерт, Э. 75
 Ваккер, Н. 86
 Вальден, Г. 73
 Вальсех, С. 555, 557-560, 562-564, 569, 600
 Ван Гог, В. 175
 Вандеркей, Г. 524
 Варгас Льоса, М. 578
 Васильев, Х. 554, 577
 Васнецов, В.М. 102
 Ван, А. 322, 450
 Вебб, С. 170
 Вебер, В. 78, 86, 99-100
 Вейерс, М. 57
 Вельмар-Литович, С. 401
 Верещагин, В.В. 546, 548
 Веритин, П.В. 519
 Верлен, П. 111
 Вернадский, Г.В. 36
 Видеман, Д. 143
 Вино, Дж. 14
 Виланд, Х.М. 60-61
 Вильгельм II 64, 121
 Вильям, М. 330-338, 347, 360
 Виннер, С. 389
 Винклер, Р. 76
 Виттевич, С.-И. 330
 Витте, С.Ю. 178
 Во, Й. 471
 Вогюх, Э.М. де 31, 173-174, 294
 Вознесенский, А.А. 388
 Войнич, Э.Л. 170
 Войнович, В.Н. 84, 130
 Волков, В. 355, 404, 487
 Волошин, М.А. 103, 280
 Волошинов, В.Н. 672, 679
 Волькенштейн, О. 54